

A 521

КР

5 1222 518



АЛТАЙ

2. 1985

1222518



151

A521

Г-Р

АЛТАЙ

1985

2

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ АЛЬМАНАХ
АЛТАЙСКОЙ КРАЕВОЙ
ПИСАТЕЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Издается с 1947 года

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА

Николай КОВАЛЕНКО. Повесть о горных разведчиках	3
Георгий ЕГОРОВ. Первый круг. Из фронтового дневника	24
Виктор СЛИПЕНЧУК. День Победы. Рассказ	42
Евгений ЧУПРОВ. Фронтовые были	50
Александр НЕВСКИЙ. Счет Алексея Кочегарова	54
Леопольд ЦЕСЮЛЕВИЧ. Под вражеским небом	64
Михаил ДЛУГОВСКОЙ. От Бреста к бессмертию	73

ПОЭЗИЯ

Марк ЮДАЛЕВИЧ. «Я говорить за них обязан...» Стихи	21
Виталий ШЕВЧЕНКО. Освободитель. «А вот и гавань...» Друзьям школьных лет.	
О друге. «Не умея пленять тревоги...». «Слава, слава...». Суровая слава. Стихи	40

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ АЛТАЯ

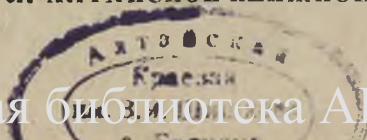
Петр БОРОДКИН. Не каждому дано	77
--	----

ВОСПОМИНАНИЯ

Николай ПАВЛОВ. Листки воспоминаний	98
---	----

Б/222578 - 3К (см. на обороте)

БАРНАУЛ. АЛТАЙСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО • 1985



Владислав КОЗОДОЕВ. Цена Победы	105
Сергей КАТАШ. Стихи, написанные в окопах	107
Частушки времен Великой Отечественной войны	109

ДЛЯ ДЕТЕЙ

Василий НЕЧУНАЕВ. Сказка о гусе и Пете	111
--	-----

Редактор И. П. КУДИНОВ

Редакционная коллегия:

В. М. БАШУНОВ, П. А. БОРОДКИН, В. Ф. ГОРН,
Е. Г. ГУЩИН (зам. редактора), В. В. ДУБРОВСКАЯ, Л. И. КВИН,
Я. Е. КРИВОНОСОВ, Г. П. ПАНОВ, И. М. ПАНТЮХОВ,
Н. М. ЧЕРКАСОВ



АЛЬМАНАХ «АЛТАЙ» 1985 № 2

Художественный редактор В. Еранкин, Технический редактор М. Сафонова.
Корректор Н. Тырышкина

Рукописи не возвращаются

АГ 00050. Сдано в набор 3. 04. 1985 г. Подписано к печати 23. 04. 1985 г. Формат 70x108/16. Бумага тип. № 2. Усл. печ. л. 9,8. Усл. кр.-отг. 10,15. Уч.-изд. л. 11,381. Тираж 7000 экз. Заказ № 961. Цена 60 коп.

Алтайское книжное издательство Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли — 656015, Барнаул, Ленина, 76.

Производственное объединение «Полиграфист» управления издательств, полиграфии и книжной торговли крайисполкома — 656023, Барнаул, Г. Титова, 3.

Адрес редакции: 656099, Барнаул, пр. Строителей, 11а. Тел. 2-14-53.

© «Алтай», № 2 1985.



Коваленко Николай Митрофанович родился в 1922 году в с. Ленки Алтайского края, участник Великой Отечественной войны. Горный разведчик. Полный кавалер орденов Славы. После войны работал кочегаром, помощником машиниста и машинистом в локомотивном депо Барнаула.

«Повесть о горных разведчиках» — это воспоминания о фронтовых буднях, о друзьях, с которыми Н. Коваленко плечо к плечу сражался, шел к Победе.

Николай КОВАЛЕНКО

Повесть о горных разведчиках

Служба в армии для меня началась необычно. В первые дни войны я не попал на фронт, а был направлен в горно-стрелковую дивизию, где меня определили в полковую школу. Началась упорная учеба. Но и учеба тоже была необычной: мы, курсанты, целыми днями занимались овладением тактики ведения боя в горах. Мне, родившемуся и выросшему в Кулундинской степи, особенно было трудно. Ведь я и горы-то видел впервые. Но отставать от друзей не хотелось, и я, преодолевая трудности, учился быстро и бесшумно взбираться на крутые склоны и спускаться с них, тщательно маскироваться, скрытно подбираться к неприятелю, обнаруживать и подавлять огневые точки врага, в совершенстве владеть всеми видами стрелкового оружия...

Время в учебе проходило быстро. Но нам хотелось, чтобы оно шло еще быстрее. Все наши помыслы были там, на передовой линии огня, где решалась судьба Родины.

Но пройдет еще немало времени, прежде чем попаду на фронт — и начнется отсчет в моем боевом послужном списке.

I

Это было около горы Индюк. Я и не подозревал, что есть на свете гора с таким птичьим названием. Наша горно-стрелковая дивизия находилась тогда на Кавказе. Враг рвался к грозненской и бакинской нефти, и его во что бы то ни стало надо было остановить.

Вечером меня вызвал командир полка Лебедев. Я понял: будет особое задание. И не ошибся.

— Нужен хороший язык, — сказал мне полковник. — Задача ясна?

Задача была ясна. Но как ее выполнить? Мне, как помощнику командира взвода управления разведки, нужно было не только организовать поисковую группу, но и продумать все до мелочей.

Подобралось шесть человек.

И вот «охота» началась.

Несколько суток мы не спускали глаз с противника. Днем, выбрав удобное место, наблюдали, отмечая каждое передвижение противника, ночью почти вплотную подползали к его позициям и часами лежали на земле, прислушиваясь, всматриваясь; изучали каждую складку местности, выискивали скрытые подступы, примечали расположение огневых точек. На пятую ночь решили действовать.

Густой туман окутал горы. Было прохладно. Шел дождь. И во всем уже чувствовалось приближение зимы. Темнота наступила быстро: кажется, совсем еще недавно было светло — и вот уже ночь. Начальник

разведки капитан Кирпиченко проверил готовность группы, сделал последние наставления, и мы двинулись вперед, тотчас растворившись в темноте.

Позади осталась нейтральная полоса. Задержались у проволочно-го заграждения, на котором немцы навешали металлические побрякушки: банки, жестянки, пустые бутылки, заденешь — звон, гром начнется невообразимый. Разведчики осторожно разрезали проволоку. Двое остались у прохода, остальные, прижимаясь к земле, поползли дальше, к неприятельской пулеметной точке. Стояла гнетущая тишина, и было слышно, как тяжело дышат разведчики. И как тихо и вкрадчиво шумит дождь. Иногда раздавались пулеметные и автоматные очереди.

Подползли к траншее. Впереди замаячила фигура немецкого пулеметчика.

— Будем брать, — прошептал я. И одну за другой швырнул гранаты. Раздались взрывы. Разведчики, воспользовавшись этим, прыгнули в траншею. Немец еще ничего не понял и продолжал вести огонь. До него несколько шагов — и теперь все решают секунды... И наша выучка, находчивость и сила, чего разведчикам не занимать. Пока немцы опомнились и открыли беспорядочную стрельбу, мы уже были на почтительном расстоянии.

Немец оказался огромного роста, тяжелый, и тащить его было нелегко. Но тут поддержали нас артиллеристы, открыв огонь по неприятелю и посеяв там новую панику... Вернулись мы благополучно.

Взятый нами язык оказался разговорчивым и дал очень ценные сведения командованию.

Однажды утром мне сказали: «Девятый, к комдиву». И я не медля отправился в штаб. Генерал-майор Лучинский, выслушав мой доклад, спросил:

— Как отдохнули, разведчики?

— Хорошо, товарищ генерал.

— В дело готов? Ну, тогда слушай... — И генерал, развернув на столе карту, склонился над ней. — Вот здесь передний край, отсюда начинаются траншеи фашистов. Надо обойти их и проникнуть в тыл противника. Нужен язык с документами о дислокации немецких частей. Проход обеспечим. А в остальном полагаемся на вашу находчивость и смелость.

Я всегда готовился тщательно к рейдам. Придирчиво осматривал подгонку снаряжения каждого разведчика, распределял обязанности, проводил несколько репетиций... пока что на карте.

И вот все готово. Но в первую ночь вылазка не удалась — испортила все дело яркая луна. Немцы вели себя беспокойно. То в одном, то в другом месте раздавались пулеметные очереди.

На другой день небо нахмурилось, низкие темные облака закрыли его полностью. Значит, и ночь должна быть темной. Так и случилось. Но гитлеровцев и темнота пугала, и они то и дело пускали в воздух осветительные ракеты. Впрочем, это уже нас не останавливало — к ракетам разведчики привыкли.

Миновали ничейную зону. Рассвет застал нас уже глубоко в тылу, в небольшом лесочке. Расставили наблюдателей, выслали вперед разведку.

— Смотрите в оба, — наказывал я, хотя каждому это ясно, однако и напомнить об этом не излишне.

Вскоре были обнаружены штабы двух батальонов и штаб полка. Здесь, у штаба полка, была усиленная охрана и много войск. И вряд ли можно было здесь рассчитывать на удачу. А неудача не входила в наши планы. Решили выйти на штаб батальона. Один из них был расположен чуть в стороне, как бы на отшибе, и это нас вполне устраива-

ло. К тому же солдаты разгуливали там без оружия, должно быть, недавно прибыли. Надо было действовать внезапно, дерзко, но расчетливо. И этот наш план полностью оправдался. Немцы не успели опомниться, как наша группа ворвалась в штабной блиндаж, захватила документы, двух «языков» и так же стремительно отошла. Теперь главное — уйти из опасной зоны, чтобы самим не оказаться под губительным огнем или, того хуже, не попасть в плен. При переходе наши наблюдатели обнаружили две батареи противника, и кто-то предложил:

— Может, артиллерийский «язык» тоже пригодится?

— Давайте, — говорю, — только без лишнего шума. А то мы и так уже много на шумели...

И едва эта вылазка закончилась, и группа разведчиков вернулась с «добычей», как вдаль послышался гул танков. По дороге проскочил мотоциклист. А гул танков нарастал, приближался. И мы приняли решение встретить их здесь, на повороте, в «каменном мешке», из которого и самим нам, как видно, без боя уже не вырваться. Залегли в укрытиях, приготовили гранаты и бутылки с горючей смесью. Ждем. Наконец появился головной танк, за ним еще несколько танков и автомашин. И когда они оказались совсем близко, заработала наша «ручная артиллерия» — противотанковые гранаты и бутылки с горючкой полетели точно в цель. Раздался скрежет сорванных гусениц, взрывы, стрельба, дым клубами повалил от танков, образовав между нами и немцами надежную завесу. Надо было воспользоваться этим, и я приказал отходить.

Три подбитых и подожженных танка и пять автомашин — вот итог короткой и неожиданной схватки.

А впереди у нас еще нелегкий путь — через расположение противника. Гитлеровцы, растревоженные дерзким налетом советских разведчиков, усилили свой передний край. Появились новые огневые точки. Но мы опять же рассчитывали на внезапность, хотя прорыв с тыла сопряжен с двойной опасностью — можно нарваться не только на вражеский огонь, но и попасть под обстрел своей артиллерии. Но выход один — и мы двумя группами рванулись вперед: первая группа с «языками», а вторая прикрывала ее при отходе огнем. И в самый, казалось бы, трудный момент с правого фланга, как бы отсекая нас от противника, стеганули по немцам наши пулеметы. Фашисты потеряли ориентировку, заметались, перенося огонь с одного места на другое. А мы этим воспользовались — и вскоре уже были в расположении дивизии.

Задание было выполнено. Штабные документы и три «языка» — трофеи неплохие.

Генерал Лучинский, выслушав мой доклад, обнял меня, пожал руки разведчикам и сказал:

— Молодцы! А теперь в баню — и отдыхать.

II

В конце апреля 1943 года части Закавказского фронта под гул несмолкаемой артиллерийской канонады ворвались на окраину станции Энем. Неожиданным и серьезным препятствием для дальнейшего продвижения в южной части станции оказалась река Кубань.

Группе разведчиков-минеров под командованием младшего лейтенанта Павла Оборина было приказано найти и подготовить наиболее удобные места для форсирования реки, определить наличие техники и живой силы противника в этом районе. Оборин со своей группой переправился на лодке на противоположную сторону Кубани, занятой немцами. И сразу вступили в бой, уничтожив тринадцать гитлеровцев. Потом началась переправа нашего стрелкового батальона. Лодка Оборина сделала одиннадцать рейсов от берега к берегу, борта ее были изрешечены пулями и осколками мин. Но младший лейтенант Оборин,

заткнув эти дыры и кое-как заделав пробоины, продолжал переправлять наших воинов. А затем снова ушел со своей группой вперед, чтобы разведать оборону противника и расчистить от мин путь нашей пехоте.

Ночь была темной. И группа Оборина незаметно проникла в расположение вражеских частей. Сообщив командованию новые сведения, разведчики пошли дальше и углубились в оборонительные вражеские позиции километра на два. Заняли особняк. И тут немцы их обнаружили, засуетились. Вскоре рота автоматчиков окружила здание и принялась методически его обстреливать — зазвенели разбитые стекла, с треском посыпалась штукатурка; немцы попытались с ходу атаковать и взять русских тепленькими... Но не тут-то было! Бойцы младшего лейтенанта Оборина отбили атаку, и фашисты отступили, потеряв около тридцати солдат. Вторую атаку немцы решили вести при поддержке танков. Снаряды один за другим стали рваться вокруг и внутри осажденного дома. И в этот момент кто-то из бойцов доложил младшему лейтенанту, что в подвале дома обнаружены, видимо, брошенные немцами фаустпатроны. И Оборин тотчас пустил их в действие. Загорелся один танк, потом был подбит и другой. Однако вражеские автоматчики уже проникли в подьезды. Бой завязался внутри здания. Патроны у оборонявшихся были на исходе, в дело пошли толловые шашки и все, что попадало под руку. Разведчики на то и разведчики, чтобы при случае использовать любые подручные средства. Дом стал крепостью — и оборинцы стояли в нем мужественно. Около двухсот гитлеровцев уничтожили они в том бою. А неподалеку от дома, на площади, неподвижными глыбами чернели в вечерних сумерках два обгоревших танка.

Вскоре подспели и наши части. Форсировав реку, они продолжали штурм станции и через несколько часов полностью ее освободили.

А группа младшего лейтенанта Оборина, отдохнув и пополнив боезапасы, отправилась дальше, разведать обстановку и обезопасить, разминировать путь для наступающих наших частей.

III

Память хранит немало ярких, незабываемых событий. Но особенно памятен мне один день. Шло партийное собрание. Обсуждалось мое заявление о приеме в партию. Один за другим брали слово мои друзья, солдаты — и те, кто давал мне рекомендацию, и те, с кем рука об руку ходил я в разведку, воевал, говорили они о верности Родине, о непременной нашей победе и еще о том, что свою преданность партии мы подтверждаем каждодневным своим мужеством.

И в следующий бой я шел уже коммунистом.

Время бессильно стереть в памяти события тех дней. Наша армия в тяжелейших боях отвоевывала клочок за клочком родную землю. Освобождены были станция Энем, город Краснодар, станицы Афибская и Абинская, выбили немцев из Крымской, станицю эту они превратили в мощный узел обороны, но устоять под натиском наших частей не смогли. Впереди была «Голубая линия» — так гитлеровцы называли линию обороны от Новороссийска до Кубани и дальше, до берегов Азовского моря. Она прикрывала подступы к Таманскому полуострову, это линия огня, линия смерти. Но и она не спасла фашистов. Советская армия неудержимо шла к Керченскому полуострову. И 9 октября 1943 года, разгромив наголову фашистскую группировку, войска Северо-Кавказского фронта завершили освобождение Таманского полуострова.

Здесь, на кубанской земле, я был ранен, попал в госпиталь. Но скоро снова был в строю.

В конце октября 1943 года войска Северо-Кавказского фронта совместно с Черноморским флотом и Азовской военной флотилией должны были осуществить десантную операцию по захвату плацдарма на Керченском полуострове.

И вот перед нами море.

Впереди Крым. Гитлеровцы, окруженные и огражденные со всех сторон морем, чувствовали себя в Крыму спокойно, неуязвимо. И просчитались. В ночь на 1 ноября корабли Черноморского флота и войска 18-й и 56-й армий Северо-Кавказского фронта начали десантную операцию. Перед началом наступления была проведена артподготовка — море огня обрушили на крымский берег. Фашисты ответили не менее ураганным огнем из пушек, пулеметов и минометов. Вспыхнули во тьме вражеские прожекторы. Вокруг рвались снаряды, мины, поднимая в воздух водяные столбы. Но ничто не могло удержать десантников. Плацдарм был взят с ходу. Теперь надо было его удержать. Гитлеровцы пытаются контратаковать, бросая в бой все новые и новые силы. Временами они рвались вперед с таким отчаянным желанием сбросить наших десантников в море, что, казалось, не было силы, которая могла бы их остановить. Но гвардейцы-десантники, отбив и одну, и другую, и все последующие атаки противника, удержали плацдарм, укрепились на нем и заняли оборону.

Хватало в те дни работы и нам, разведчикам. Мы проникали в расположение противника, действуя группами и в одиночку, проводили рискованные операции. Вот где проявлялись в полной мере твердость характера, смекалка, самообладание наших бойцов. Особенно много пришлось потрудиться нам, разведчикам, когда войска стали готовиться к прорыву обороны. Начальник разведки гвардии капитан Кирпиченко (впоследствии Герой Советского Союза) вызвал меня и дал задание: достать контрольного языка. Мы долго обсуждали план поиска. Наконец решили, что надо проникнуть на окраину Керчи. Два дня готовились, изучали обстановку, поведение противника. Нашли наиболее уязвимое место в его обороне — район металлургического завода имени Войкова. Там был дзот. Группа в составе восьми разведчиков, которую подбирал я сам, отправилась на задание.

Вышли к подножию горы Митридат, где, укрывшись в окопе, сидели в боевом охранении три наших автоматчика. Дальше — нейтральная зона. Пройдя по ней метров триста, мы залегли и осмотрелись. Было тихо. Лишь где-то слева слышались автоматные очереди. Двинулись дальше. Но тут поиск чуть было не сорвался. Когда ползли в направлении дзота, один из разведчиков задел сапогом валявшийся на земле котелок, и тот с грохотом покатился вниз. Фашисты открыли огонь. Ракеты одна за другой взлетели в небо. Пришлось залечь и часа два не двигаться, выжидая, когда немцы успокоятся.

Только на рассвете достигли цели. Дзот был трехамбразурный с круговым обстрелом. Подползли, очередью из автомата сняли часового, бросили гранаты в дзот. Из него выскочил фриц с поднятыми руками — он и оказался нашим контрольным языком.

В ноябре 1943 года части 4-го Украинского фронта ворвались на Перекопский перешеек и форсировали Сиваш. Таким образом 17-я немецкая армия, в которую входили 98-я и 73-я пехотные дивизии, 3-я горно-стрелковая и 6-я кавалерийская дивизии румын, были прочно заперты с суши и блокированы с моря силами Черноморского флота.

Замысел операции состоял в том, чтобы одновременно ударами с востока, из района Керчи, и с севера, от Перекопа и Сиваша, в направлении на Севастополь расчленил вражескую группировку и не допустить эвакуации войск противника, полностью их уничтожить.

Войска Северо-Кавказского фронта были к тому времени преобра-

зованы в Отдельную Приморскую армию и сыграли в этих затяжных многомесячных сражениях большую роль. В середине апреля 1944 года соединения 51-й и Отдельной Приморской армий, преодолевая отчаянное сопротивление врага, вышли на рубеж реки Черная—Нижний Чергунь. На следующий день была освобождена Балаклава.

18 апреля Отдельная Приморская армия вошла в состав 4-го Украинского фронта. Теперь армия, в составе трех корпусов, занимала рубеж от южной части Сапун-горы до берега моря. Главный удар она должна была нанести по высотам Горная и Безымянная. Здесь действовал наш 3-й горно-стрелковый корпус под командованием генерал-майора Лучинского. И вот части 77-й и 32-й гвардейских стрелковых дивизий одновременно ворвались на гребень Сапун-горы. Завязались ожесточенные схватки. К исходу дня 7 мая Сапун-гора была наша. В этот же день наши войска прорвали главную полосу обороны противника, заняли высоту Горная, поселок Карань, а затем и гору Каябаш. При штурме высоты Горная наша группа разведчиков — Хандога, Попеляев, Головань, Муха и я — первыми ворвались в траншею противника, укрепились на высоте и удерживали ее до подхода основных наших частей.

Враг пытался выйти из окружения в районе поселка Карань, но сделать ему это не удалось.

9 мая 1944 года Севастополь был освобожден.

Гитлеровцы, прижатые к морю, пытались еще сопротивляться, вырваться из железного кольца, бросая в бой все свои силы. Но тщетно. И 12 мая немецко-фашистские войска прекратили сопротивление. Здесь, только в районе мыса Херсонес, было взято в плен около 24 тысяч гитлеровских солдат и офицеров, 3 генерала и большое количество техники и вооружения.

Крымская операция завершилась победой советских войск. Остался еще ровно год до нашей общей Победы.

IV

Слава о разведчице Федоре Жмуре шла по всему фронту. О нем ходили легенды. К концу войны на личном счету старшины Жмура значилось больше десяти захваченных языков и около тридцати уничтоженных вражеских солдат и офицеров. Федор Жмур был мастером вылазок в тыл врага. Никогда он не возвращался из рейдов с пустыми руками.

Помнится, во время наступления нашей дивизии враг оказывал особенно упорное сопротивление на одном из участков. Командование дивизии не имело достаточных данных о силе и огневых средствах противника. Надо было во что бы то ни стало добыть языка, желательно «подлиннее», чтобы мог обстановку обрисовать во всех деталях. А это значило — разведчики должны проникнуть в глубь фашистской обороны. Поручили это задание группе во главе со старшиной Жмуром.

После недолгой подготовки сырой холодной ночью разведчики незаметно пересекли передний край. Старшина с этой местностью был уже знаком — недавно он побывал в тылу немцев, привел двух пленных. Но теперь гитлеровцы подтянули новые силы и необходим был новый язык, да «подлиннее», как сказали в штабе. Но как ни знакома местность, а пробираться в лесу, да еще темной ненастной ночью, нелегко. Шли молча, осторожно. Передний край остался далеко позади. Хотелось курить. Но кто же решится на это?

Вдруг недалеко, в стороне, послышался шорох, раздалась глухая голоса. Разведчики замерли. Потом все стихло. И высланный вперед дозор вскоре вернулся и доложил, что неподалеку отсюда размещается вражеская огневая точка. У старшины Жмура созрел план: напасть на гитлеровцев неожиданно и без единого выстрела.

Немецкие пулеметчики, не ожидавшие столь дерзкого нападения, были захвачены врасплох. И к утру их вместе с пулеметами и боеприпасами переправили через линию фронта. Пленные дали ценные сведения.

В другой раз старшина Жмур вместе со своими разведчиками скрытно подобрался к передовым позициям фашистов, которые оказывали здесь отчаянное сопротивление нашему батальону, и внезапно ворвался в их траншеи. Гитлеровцы растерялись. А разведчики, пользуясь их замешательством, расстреливали их в упор из автоматов, чем и обеспечили успех всего батальона. Населенный пункт был взят. Немцы отступили.

И вот снова мы в горах. На этот раз перед нами — Карпаты. 19 сентября 1944 года после мощной артподготовки начался штурм неприступных вершин и перевалов. Действия наших войск были стремительными и неукротимыми. И 20 сентября наша 128-я гвардейская дивизия перешла границу Чехословакии. Рука об руку с нами шли части чехословацкого корпуса под командованием Людвиг Свободы. Радостными были встречи советских воинов на чехословацкой земле.

А в декабре дивизия стала готовиться к новой операции.

Наша разведгруппа под командованием лейтенанта Павла Оборина уже шестой день находилась в тылу врага. Спускаясь с одной из гор, разведчики слышали немецкую речь и стук лопат. Лейтенант приказал мне выдвинуться вперед. Скрытно пробравшись по склону горы и раздвинув кусты, я увидел, что немцы (количеством около взвода) минируют дорогу. Вернулся и доложил лейтенанту. Решили действовать двумя группами. Одна оставалась здесь, другая, возглавил которую я, должна была незаметно пересечь дорогу и зайти противнику с тыла. Обе группы по условленному сигналу открывали автоматный огонь с двух сторон. И когда первая группа открыла огонь, фашисты растерялись, заметались и бросились как раз в ту сторону, где находилась в засаде моя группа. Подпустив их поближе, мы тоже открыли огонь, как бы поставив точку в этой операции.

Чуть позже дорога была разминирована, и наши войска прошли по ней беспрепятственно.

Утром старшину Жмура и меня срочно вызвали в штаб дивизии. Явившись, мы, как и положено, доложили о своем прибытии. Здесь, кроме комдива Колдубова, были комкор Лучинский и начальник разведки капитан Кирпиченко. Генерал Лучинский сказал:

— Против нас действуют «смертники» под командованием полковника фон Калиона. Необходимо добыть смертника, но только живым. Сможете?

Какой вопрос. Старшина Жмур, не задумываясь, ответил:

— Коли надо, товарищ генерал, сможем и смертника живым добыть.

— Хорошо. — кивнул генерал и улыбнулся. — Фон Калион это еще не Наполеон. А теперь взгляните на карту.

И генерал Лучинский разъяснил нам план разведоперации.

Несколько дней мы изучали передний край обороны противника. Решили напасть на пулеметную точку. Глубокой ночью двинулись к ней. Бесшумно подползли. И группа захвата, которую я возглавлял, открыв огонь из автоматов и забросав пулеметную точку гранатами, ворвалась в траншею. А затем, прикрываемые огнем товарищей, вместе с захваченным языком стали отходить. Задание было выполнено.

Сейчас, спустя многие годы, когда рассказываешь об этом, все выглядит как будто буднично и просто — выследили, напали, захватили...

Но скольких сил и скольких жизней это стоило!

Однажды наша группа вышла на дневную операцию по захвату контрольного пленного. Кругом был лес. Меня определили на этот раз в группу прикрытия. В завязавшейся перестрелке ранило командира группы обеспечения. Тогда я ползком подобрался к огневой точке противника и забросал ее гранатами. В это время группа захвата, взяв языка, стала отходить. И нам пришлось изрядно поработать, чтобы прикрыть ее отход.

И так почти каждый день. Дивизия наша вела в то время тяжелые бои в предгорьях. Противник укрепился по склонам, построив много дотов и дзотов, опоясавшись линиями траншей и проволочных заграждений, заложил в балках и оврагах мины. Отступая по всему фронту, гитлеровцы ожесточенно сопротивлялись. Бои в Карпатах не затухали ни днем, ни ночью.

И разведчики, как правило, первыми шли. Первыми ворвались они и в город Ворохта, на его северную окраину. Остановились перед большим серым зданием. И кто-то сказал: «Да это же тюрьма». Охрана к этому времени уже разбежалась. Разведчики сбивали прикладами замки. В сырых и грязных застенках они обнаружили узников, — как оказалось, чехов. Это были полуживые люди — скелеты, закованные в кандалы. Руки их были заломлены за голову и скованы стальными цепями. Разведчики были так ошеломлены увиденным, что некоторое время не могли двинуться с места. Так вот он каков фашизм — и вот что несет он народам: кандалы и цепи рабства! Кто-то из разведчиков предложил:

— Товарищи, надо снять цепи... Чего же мы стоим?

Потом один из чехов, едва держась на ногах, торопливо говорил, указывая глазами вдаль:

— Эта сопка худо есть... Сопка черный, черный...

Бой разгорался, нужно было спешить на помощь своим, дорогá была каждая минута, но разведчики не могли оставить узников, не оказав им помощи... На южной окраине Ворохты взвод лейтенанта Павла Оборина и автоматчики из батальона капитана Гриценко сдерживали натиск противника, нуждаясь в поддержке. А в эти самые минуты разведчики, еще не понимая вполне величия совершаемого ими подвига, освобождали узников от цепей... Те с восхищением смотрели на красные звезды своих освободителей и плакали от радости.

А потом разведчики двинулись к сопке. Утренний воздух дрожал от разрывов мин и снарядов. Бой разгорался с новой силой. Разведчики залегли и открыли ответный огонь. Александр Муха меткими очередями уничтожил несколько огневых точек. И разведрота пошла на штурм высоты. В этом бою был ранен командир взвода гвардии лейтенант Павел Оборин. И командование взводом принял на себя старшина Жмур.

Муха действовал смело и решительно. Пулемет в его руках работал безотказно. Саша выдвинулся вперед на гребень, откуда хорошо видна была та черная сопка, о которой говорил чех-узник. Противник вел оттуда сильный огонь.

Отделение старшины Хандога медленно продвигалось вперед. Немцы подпустили их ближе, а затем открыли отсечный огонь. Разведчики оказались в ловушке.

Саша Муха пошел на выручку. Переползая с места на место и выбирая наиболее удобные точки для ведения огня, он метко разил противника, уничтожая одну за другой его огневые точки. Хандога воспользовался этой помощью и вышел из окружения.

— Спасибо, Саша!—поблагодарил он за выручку Муху. Тот махнул рукой:

— Ничего, парторг, после войны сочтемся...

Виктор Хандога, москвич, бывший токарь Второго часового завода, в начале сорок четвертого был избран парторгом роты. Разведчики це-

нили его за доброту и мужество. Хандога хотел сказать еще что-то Мухе, но Саша, отдав пулемет второму номеру, с автоматом и гранатами в руках двинулся вперед. Что он еще задумал, этот веселый и отважный парень? Вот он, припадая и почти сливаясь с каменистой землей, уже скрылся за откосом, пошел в обход. Саша в тот раз разведал основные огневые точки противника и при возвращении все же не удержался и бросил одну гранату в амбразуру дота.

Вернувшись, он доложил о своих наблюдениях командиру роты. Начался новый штурм высоты. И Александр Муха снова залег за пулемет и меткими очередями косил фашистов, подавляя их огневые точки. Время от времени он менял позицию. Бросок вперед, еще бросок — и вот он уже на вершине. Бой достиг предельного напряжения. Вдруг пуля, вжикнув, обожгла левую ногу. Но думать сейчас о ране времени не было. А тут еще беда — кончились патроны. Саша оглянулся по сторонам. Второй номер то ли отстал, то ли погиб. Припадая на левую ногу, Саша бросился за патронами. Схватил диск — и снова к пулемету. Меткая очередь.

— На, получай! — выкрикивал Саша. — Это вам за все. Получайте, гады!..

И пулемет его разил врагов беспощадно. Вдруг он умолк. И от наступившей тишины звенело в ушах. Что случилось? Патроны есть, а пулемет молчит. Саша осмотрел его: раздутие муфты. Все, отстрелялся! А фашисты опять поднялись и пошли вперед. И тогда Александр Муха, схватив пулемет за раскаленный ствол, обжигая ладони и размахивая пулеметом, как дубиной, двинулся навстречу бежавшим к нему немцам, налево и направо стал наносить удары. Сбил одного, другого фашиста... Но вот и сам рухнул, не выпуская из рук пулемета.

Когда отделение Виктора Хандоги подоспело и старшина склонился над Сашей, пытаясь ему помочь, Саша успел только сказать: «Вперед, старшина... вперед! Победа будет за нами...»

Вскоре подошло подкрепление — и высота Черная была взята.

V

Ранней весной 1945 года поисковая группа благополучно перебралась через разлившуюся речушку, двинулась к объекту поиска и неожиданно услышала шум и голоса. Залегли, затаились. И увидели: к той самой заводи, которая в свое время привлекла внимание разведчиков, двигался отряд. Скрипели повозки, погромыхивало железо. Гитлеровцы шли смело — к заводи вела покатая лощина. Группа захвата подползла поближе и установила, что противник готовился строить проволочные и минные заграждения. Вступать в бой с такими силами было бы нерасчетливо, и старшина Жмур решил брать языка на пути подхода к работающей группе противника. А работала здесь не одна сотня людей, и Федор Жмур, опытный разведчик, подумал о том, что ими должен кто-то руководить, кто-то обязан проверить, как идет работа. Старшина не ошибся. Через полчаса, когда возле завала вовсю уже стучали топоры и шаркали пилы, к лощине подошел немецкий офицер. Двигался он уверенно, быстро, с видом серьезного и очень озабоченного весьма важным делом человека. Чуть позади шел другой немец, судя по всему, ординарец этого офицера. Лучшего языка и желать было не надо. Разведчики без шума и спешки захватили офицера и быстро начали отходить к переправе. И тут Попеляев обратился к Жмуру:

— Разреши, старшина, задержаться.

— Это еще зачем? — глянул на него Жмур. Задание было выполнено, контрольный язык взят. Да еще какой язык! — Зачем? — переспросил старшина.

— Хочется пошерстить эту сволочь, — кивнул Попеляев в сторону работающих немцев.

— Отставить! — тихо и твердо сказал Жмур. — Поднимешь тут тарарам — и все дело насмарку.

Попеляев, слегка наклонившись, горячим и нетерпеливым шепотом объяснил:

— Да нет, нет же, старшина, не будет такого. Начну их шерстить только после того, как вы достигнете переправы.

Старшина помолчал. А Попеляев, словно используя эту паузу, продолжал настаивать:

— Разрешите, старшина. Не в тыл ведь, не на отдых прошусь...

Старшине хотелось оборвать его, наконец, на правах командира приказать замолчать и делать то, что положено сейчас делать разведчикам, и он уже набрал было полную грудь воздуха, чтобы одернуть подчиненного, но только шумно выдохнул. Помешало, как видно, то, что он уже знал о Попеляеве, и то необыкновенное и не до конца еще понятное, что было в нем, и что, несмотря на свою непонятность, все-таки нравилось старшине Жмуру, потому что было оно, это непонятное, безусловно, как думалось старшине, искренним и чистым. Вот поэтому старшина вместо того, чтобы оборвать Попеляева и тем самым «прекратить базар», отрывисто и тихо спросил:

— Ты что в одиночку собираешься шерстить?

Попеляев улыбнулся:

— Меньше потерь... в случае чего. Но если боитесь, возьму Иванова. Он согласен. Я уже говорил с ним. Разрешите, старшина.

И тут в старшине прорвалось то, что копилось все это время — гнев и обида не столько на Попеляева, сколько на свою нерешительность:

— А если ранят?

Но этим он как бы окончательно расписался в своей нерешительности, а точнее сказать, ему и самому хотелось пошерстить эту сволочь, но он командир и должен выполнить задание точно и в срок. Попеляев обрадовался:

— Понятно. Идем с Ивановым. Спасибо, старшина!

Возвращаясь к переправе, Жмур мысленно старался себя убедить в правильности своего поступка. В конце концов тамтарарам, который собирался устроить немцам Попеляев, прикроет отход поисковой группы и поможет доставить ценного языка. Но как он объяснит это капитану Кирпиченко? Оставил бойцов для прикрытия поисковой группы... Так он и сказал. Капитан, выслушав, поморщился:

— Можно было обойтись без этого. Зачем же рисковать людьми? Не нравится мне это, старшина.

Вероятно, он предпринял бы что-то, чтобы помочь оставшимся для прикрытия двум бойцам — Иванову и Попеляеву, но в это время неподалеку взлетела осветительная ракета, отрывисто пророкотал пулемет...

— Ну вот, начинается, — буркнул Кирпиченко. — Черт знает что!..

Позади немецких траншей слышался встревоженный говор. В небо опять взлетело несколько ракет.

Разведчики налегли на весла, и лодки, освещенные мертвенным светом, заскользили по черной воде. «Не прорвемся...» — подумал старшина, да и не только он один так подумал. Слишком уж заметны были лодки и люди на них. Но вот трескуче и слаженно ударили автоматы, грохнули разрывы гранат, и было видно, что никто им не отвечает. Пулеметы били еще наугад, прочесывая местность... Внезапно, покрывающая нарастающий шум боя, горько и обиженно заржала лошадь, скорее это было не ржание, а крик, вопящий, ни на что не похожий, больно стеганувший по нервам. От бухточки на всем скаку вынеслась двуколка, покрасовалась мгновение над обрывом и, облитая все тем же мертвенным светом ракет, грохнулась вниз. Ни всплеска, ни шума никто не услышал — бой разгорался. Он шел почти до полуночи, потом постепенно стих.

Всю ночь разведчики не уходили с берега, ожидая Иванова и Попеляева. Черная вода была глянцеви́то спокойна, и солдаты, жадно затягиваясь сигарками из рукавов, настороженно молчали. В рассветные сумерки капитан Кирпиченко приказал остаться только наблюдателям, а остальным уйти в тыл на отдых. Никто не хотел уходить, и все, не стовариваясь, ходили вокруг похудевшего за ночь и словно обуглившегося старшины Жмура. Он молча, исподлобья поглядывал на товарищей и даже не курил, а только часто пил воду и все облизывал пересохшие губы. Никто ничего ему не говорил, но во взглядах людей сквозила укоризна. Жмур поднял глаза и посмотрел на капитана Кирпиченко — и капитан понял, что старшина просит разрешения сплавить на тот берег и проверить, что там произошло с разведчиками, капитан понял это и непримиримо поджал губы: все должно оставаться так, как произошло. А за последствия ответят вдвоем: они оба приняли решение...

И всем стало понятно, что возвращения с того берега быть не может. Наблюдатели сообщили, что немцы попрятались в траншеях.

Утром противник бил тихо и покладисто: у него уже не хватало боеприпасов. И вдруг на том берегу, в подобрывной темноте, как звездочка, блеснул слабый огонек. Туман быстро поднимался. И кто-то остроглазый увидел, что в нише, под высоким западным берегом, у самой воды, вспыхивает и гаснет сигарка. Потом разглядели две скорчившиеся, тесно прижавшиеся друг к другу фигурки.

— Да это же Попеляев с Ивановым! — радостно воскликнул Жмур.

Весь день они пролежали под обрывом, и вся передовая смотрела на них в бинокли и стереотрубы, а неунывающий Попеляев сигнализировал морским семафором о своем отличном самочувствии и просил вечером устроить маленький сабантуйчик. Для них устроили не маленький, а преогромный сабантуй, боеприпасов не жалели. Но противник почти не отвечал. Это было не менее важно, чем благополучное возвращение двух разведчиков; и каждому стало понятно, что на том берегу что-то не так, что-то сломалось в грозной машине, но что именно — никто еще не знал.

VI

Этой ночью решалась судьба высоты 810,0. Солдаты называли ее «ячмень» — она и впрямь для нас была, как ячмень на глазу. С высоты противник просматривал всю прилегающую местность, корректировал огонь, вел наблюдение за нашими дорогами. Высота как будто самой природой была приспособлена для обороны. Склоны ее, густо поросшие лесом, круто обрывались к нашим позициям, затрудняя подступы. А вершина плоская, крепость — да и только.

Но полковник Лебедев был настроен оптимистически. Противник думает, что сюда дивизию бросили. Ничего подобного! Мы эту горшку меньшими силами возьмем. Взять «ячмень» поручили батальону гвардии капитана Гриценко. План операции комбат разработал вместе с начальником разведки гвардии капитаном Кирпиченко. Да и не сразу родился этот план. Две недели разведка наблюдала за противником. Было установлено, что на ночь фашисты отходят в глубь обороны, оставляя на высоте лишь небольшое прикрытие. Основной же резерв располагался за речкой Пистынка. Оттуда шло снабжение боеприпасами, продовольствием. Пистынка текла в глубокой промоине, и мост через нее был переброшен по высоким берегам. Между прочим, нашим артиллеристам никак не удавалось разрушить этот мост, скрытый от наблюдения. В чем же суть плана? Батальон Гриценко с вечера просачивается по ложине к подножию высоты. Отделение разведчиков выходит в тыл врага и после полуночи подрывает мост, блокируя подход резерва к высоте. В это время батальон атакует позиции противника...

И вот едва сумерки окутали вершины гор, капитан Гриценко построил людей. В сумраке было слышно, как он тихо сказал:

— Попрыгаем, хлопцы, проверим подгонку.

Метнулись тени. Тишина почти полная. Только хрустнула сухая веточка у кого-то под сапогом да звякнуло что-то на правом фланге. Гриценко бросил туда недовольный взгляд. Но там старшина уже помогал солдату пристроить котелок. Еще бы! Малейший шум мог сорвать всю операцию. Ведь батальону предстояло ползти под носом у противника и залечь в двухстах метрах от его окопов. Наконец, все подогнано, закреплено — ни единого звука не послышалось после повторной проверки...

Ушла вперед разведгруппа. Возглавил ее старшина Хандога, коммунист, опытный разведчик, имевший на своем счету не один десяток языков. Через час скрылись в ночной темноте и солдаты батальона Гриценко.

На переднем крае противника то и дело вспыхивали осветительные ракеты и периодически слышались короткие пулеметные очереди. Явление обычное. Но теперь, когда где-то там, в темноте, ползли наши люди, каждая пулеметная очередь настораживала, волновала: а вдруг обнаружили?

Время полночь, а за высотой — тишина. В чем дело? Лебедев начал нервничать. Кирпиченко успокаивал командира полка:

— Выжидают. Все в порядке будет, Анатолий Иванович. Вот увидите.

Только в час тридцать со стороны Пистынки донесся глухой грохот взрыва. Горное эхо повторило его. Вспыхнула стрельба, потом и она затихла. А минут через двадцать уже на высоте послышались хлопки гранат, пулеметные и автоматные очереди. Батальон пошел в атаку. Его поддержала артиллерия дивизии. Успех был полный. Высота была занята почти без потерь. Ошеломленные неожиданным ударом, фашисты не могли оказать сопротивление. Да они и не думали, что ночью ударят по ним с юга: там было два минных поля. Однако наши разведчики-саперы заранее проделали на одном из них проход.

К обеду вернулась разведгруппа Хандоги. Капитан Кирпиченко спросил у него, отчего произошла задержка со взрывом. Оказывается, на мосту проводились ремонтные работы, и разведчикам пришлось ждать их окончания. Потом младший сержант с группой разведчиков заложил взрывчатку. Вернулись без единой царапинки.

— Помогли фашистам «отремонтировать» мост, — посмеивался старшина Хандога.

На следующий день противник предпринял ряд ожесточенных контратак. Ему удалось окружить высоту. Но у защитников теперь достаточно было боеприпасов, и продовольствия. Связь действовала надежно. Подходы же к высоте наши саперы заминировали сразу после боя. Пять дней противник не расставался с мыслью вернуть высоту. Пять дней поливал он ее огнем пушек и минометов, но тщетно.

Высота 810,0 как была, так и осталась «ячменем» — только теперь на глазу у врага.

Много героических дел совершили бойцы и командиры в боях за укрепленный район Керешмезе. Но особенно отличился в те дни разведчик сержант Америкян, о его храбрости и находчивости ходили легенды. Внешне он был даже несколько флегматичный, неповоротливый, плотный и широкоплечий увалень, вот только глаза выдавали прирожденного разведчика — острые, быстрые, как бы мгновенно схватывающие все вокруг. Разведчики в шутку называли Америкяна человеком-невидимкой. Он среди бела дня мог пробраться и пробирался не раз в глубину Керешмезского укрепрайона, зарывался в каменную россыпь

и часами неподвижно лежал, подмечая все, что делалось вокруг, запоминая. И приносил потом ценнейшие сведения. Это Америкян со своей маленькой группой подсчитал количество дотов и дзотов противника, засек их расположения и точно нанес потом на карту. Благодаря этому было ускорено взятие города Керешмезе. Офицеры из штаба решили проверить точность сведений разведчика Америкяна; пересчитали доты и дзоты и поразились: цифра их точно совпадала с данными Америкяна.

Позже Америкян с группой разведчиков обнаружил обход на одном из участков обороны противника и в самый решающий момент провел батальон капитана Гриценко в тыл фашистам, чем обеспечил и помог развить новое наступление нашим войскам.

VII

Как только корпус сосредоточился в районе Поронин-Закопане, к нам приехали командующий 1-й гвардейской армии генерал-полковник А. А. Гречко и командующий корпуса генерал-майор А. А. Лучинский.

Командарм напомнил бойцам, что военные действия на стыке границ двух государств — Чехословакии и Польши — требуют особенно высокой организованности и дисциплины.

— Не забывайте, товарищи, — говорил командарм, — мы советские воины. На нас смотрит сейчас весь мир.

Наш штаб расположился рядом с населенным пунктом Поронин. Разве можно было удержаться и не сходить в места, где жил Владимир Ильич Ленин, где в 1913 году под его руководством прошло партийное совещание. Поронин стоит у самого подножия Татр, неподалеку от красивого курортного местечка Закопане. Мы с большим волнением осматривали достопримечательности Поронина, разговаривали со сторожками. Поронинцы свято и бережно хранили все, что связано было с Ильичем... И это еще больше сблизило нас с поляками. Имя Ленина в те дни то и дело звучало в разговоре, и это вселяло в нас еще большую уверенность в победе, прибавляло сил.

Через несколько дней наши разведчики уходили в головной дозор по направлению Моравско-Оставского промышленного района — этого «стального сердца» Чехословакии.

Группа, возглавлял которую старшина Жмур, состояла из шести человек. По дороге нагнали длинный, растянувшийся на несколько километров обоз — чешские, словацкие дети, женщины, старики. Бойцы остановились у передних подвод. Спросили, далеко ли они идут, как у них с продуктами и не видели ли поблизости немцев. Пошутили с девушками, потрепали мальчишек по вихрастым головам — и пошли дальше. Через несколько километров увидели противника. Навстречу катили на полной скорости несколько десятков тупорылых автомашин, до отказа набитых гитлеровцами. Разведчики нырнули на обочину, залегли.

— Что будем делать, старшина? — спросил кто-то.

— Примем бой, — ответил Жмур.

— Но их же вон сколько... Может, переждем?

— А обоз? — всего только два слова и сказал Жмур, но всем все стало ясно. Если пропустить гитлеровцев, они буквально через несколько минут встретятся с обозом — и не пощадят, конечно, его, передавят, перестреляют. Разве можно это допустить? И шестеро разведчиков вступили в бой, стояли до тех пор, пока не подошли наши войска. В этом бою был тяжело ранен старшина Жмур. Его отправили в тыловой госпиталь. И мне больше не довелось с ним встречаться.

Где он, чудесный человек и храбрый разведчик, жив ли, нет? И если здравствует, как бы мне хотелось, чтобы мои записки попали ему на глаза.

Прежде чем говорить о том, как разворачивались дальнейшие события, мне хотелось бы рассказать еще об одном памятном для меня эпизоде. За Ворохтой одна из рот нашей части заняла небольшую деревищу. Каково же было удивление бойцов, когда они увидели над крышей одного из домов развевающийся красный флаг. Кто водрузил его? Вскоре подошел пожилой вислоусый гуцул и признался:

— Цэ я повисыл. А що?

— Где ж ты флаг этот взял? — спросили бойцы. Старик оживился:

— А цэ по-вашему, по-русийски сказать, из сильрады. Оно ж коли тут совецька влада попэрше була, циею скатьоркой стил у сильради покрывали. А потим нимцы прыйшли та ции.. бандеры. А им червоный колер дуже подобається. Ну я и заховал. А зараз, бачитэ, сгодылась. Так що добро пожалувать! Ласково просымо, панове и товарищы! — низко поклонился гуцул, а когда выпрямился — в глубоких впадинах его глаз сверкнули слезы радости.

Прошло несколько дней.

Однажды вечером в штаб позвонили из политотдела 2-й гвардейской дивизии:

— Александр Александрович, помните того старого гуцула, что красный флаг вывесил к нашему приходу?

— Еще бы! — ответил Лучинский. — Буду у вас, обязательно зайдду в гости к нему.

— Да нет, не зайдете, товарищ генерал... Его уже нет в живых. Вчера ночью бандеровцы убили.

Лучинский едва не выронил из рук трубку. Звери, расправились со стариком.

— Поймали убийц?

— Пока нет. Ищем.

— Поручите разведчикам, — приказал генерал.

И разведчики вскоре нашли и разгромили бандеровскую группировку. А красный флаг над домом старого гуцула продолжал развеваться...

VIII

327-й гвардейский горно-стрелковый Севастопольский полк продолжал вести бои в районе польско-чехословацкой границы, освобождая один за другим города и села. Противник упорно сопротивлялся, превратив здесь каждый населенный пункт и каждую высоту в сильные опорные пункты. 14 октября 1944 года подразделения полка завязали бой за населенный пункт Звала. Первым в село ворвался взвод разведчиков под командованием гвардин старшего сержанта Василия Голованя. Разведчики действовали смело и решительно. Фашисты, однако, не желали уступить и бросили в бой все свои силы, все огневые средства. В этом бою был тяжело ранен командир роты, и старший сержант Головань взял на себя командование. Пятая рота под его командованием решительным ударом овладела высотой 719. Противник в пять раз превосходящими силами контратаковал, желая вернуть утраченные позиции. Но старший сержант Головань умело организовал круговую оборону, и рота отразила бешеный натиск врага. Гвардейцы во главе со своим отважным командиром только в рукопашной схватке уничтожили больше сорока гитлеровцев. Потом вражеское кольцо было прорвано, восстановлена связь с батальоном, вынесены с поля боя раненые, и наступление продолжалось.

Это был не первый подвиг комсомольца Василия Голованя. Помните, уже зимой 43-го слава о нем шла чуть ли не по всему фронту, о нем не раз писали газеты. Однажды группе разведчиков было приказано ночью перейти линию фронта в районе станции Абинская и ударом с тыла внести сумятицу и панику в стане врага, чтобы облегчить

продвижение наших основных сил. Предварительно требовалось уничтожить огневую точку, находившуюся на пути разведчиков.

Сделать это взялся сержант Головань. Он подполз в темноте к дзоту, ворвался в него и открыл огонь по находившимся там пулеметчикам. На рассвете разведчики ударили по противнику с тыла. Все было сделано так, как требовала обстановка. В этом бою Василий Головань лично истребил из ручного пулемета около тридцати фашистов, а одного офицера взял в плен.

18 октября 1944 года гвардии старший сержант Василий Головань был убит в бою при освобождении еще одного населенного пункта... Трудно было поверить, что этого отважного разведчика больше не будет с нами. «Нет, нет, он всегда будет с нами — в нашей памяти, в наших боевых делах!» — говорили мы тогда. Среди документов комсомольца Голованя лежало два письма — одно от матери, а другое к матери, которое он написал, но отправить, как видно, не успел.

* * *

«Дорогой сыночек Вася!

Пишем тебе с бабушкой каждую неделю и, как камушки в море бросаем, — ни привета, ни ответа. Почему ты молчишь, почему так редко отвечаешь? Когда у тебя будут свои дети, ты поймешь, как это тяжело ждать от них писем. Каждый вечер отмечаем на карте продвижение наших войск и стараемся угадать, где же ты сейчас находишься. В пятый, наверно, раз просим тебя сообщить о состоянии твоего здоровья. Как, сынок, себя чувствуешь? Не мучают ли тебя головные боли, меньше ли теперь заикаешься, как пораненная нога? Кормят ли вас регулярно? Сказывают, что, когда идет наступление, кухни отстают и бойцам приходится туго. Так ли это? Может, нужно срочно собрать тебе посылочку с продуктами? У нас сейчас достаточно овощей, и мы вполне можем обойтись без того, что получаем из совхоза. Напиши обязательно, не стесняйся. Вчера встретила Машу Терехину, стояли с ней на площади и плакали. В вашем классе еще две похоронные: под Севастополем погиб Сережа Кузнецов, а в Белоруссии убили Милочку Панину. Сережу я знала мало, а Милочку помню еще первоклашкой, когда она жаловалась мне, что ты дергаешь ее за косички и вообще обижаешь. Я еще тогда посмеялась, что ты к ней равнодушен, и попросила вас посадить. А когда тебя пересадили, ты страшно рассердился, и я поняла, что мое торопливое предположение небезосновательно. Оказывается, она была на одном с тобой фронте. Это девятая по счету смерть в вашем классе — бедные ребята, несчастные матери! Бабушка связала тебе длинные теплые чулки, специально на раненую ножку, и вот забота — зима на носу, а не знаем, как переслать, боимся — затеряются.

Сыночек дорогой, Вася! Настоятельно тебя прошу. Не бравируй все же без нужды. Помни, что ты у нас с бабушкой остался один, больше никого у нас нет... Береги себя. И чаще пиши.

Целую. Мама.»

«Дорогая мамочка!

Извини, что не писал целый месяц — совсем не было времени. Зато уже сейчас постараюсь. Мы ушли далеко на Запад и находимся на территории Польши. Таким образом, я попал за границу. Леса здесь красивые, густые, так называемые пуши, много птиц. А поля забавные — узкими полосками. Наверно, как у нас до революции. В садах полно яблком и груш, но поесть просто нет времени, да и просить неохота. Середина августа, а жара, будто в июле. Здесь не бывает морозов, как у нас. Говорят, зимой тоже слякоть. Так что и люди, и природа, и климат любопытные, но какие-то чужие. У нас лучше. Вы себе даже не представляете, как хочется чего-нибудь нашего, довоен-

ного: гречневой каши с маслом, или окрошки с квасом, или вареной картошки в мундирах с малосольными огурцами. После возвращения из госпиталя в свою часть немного уже освоился. Правда, спать удается очень мало. Зато люди меня окружают замечательные, а командир наш вообще необыкновенный человек. Зря ты, мама, волнуешься. Чувствую я себя превосходно, о ранении и контузии вспоминаю только, когда получаю твои письма. Хорошо было бы, если бы прислали пару книг или какие-нибудь журналы. Выпадает свободная минутка, а читать абсолютно нечего.

Привет всем. Будьте здоровы. Целую тебя и бабушку. Направление нашего движения — Чехословакия.

Ваш сын В а с я.

Если цела коробочка с леденцами, о которой ты раньше писала, то пришли».

И еще одно письмо.

«Уважаемая Ульяна Папкратьевна!

Ваше письмо получил. Ваш сын гвардии старший сержант Головань Василий действительно проходил службу в вверенной мне части, прибыв из госпиталя, где находился он на излечении по поводу ранения и контузии. Я сочувствую Вашему горю и с пониманием отношусь к Вашей просьбе. К сожалению, в условиях действующей армии создать Вашему сыну «щадящего режима для сохранения его жизни», как просите Вы в своем письме, не всегда представлялось возможным. О Вашем письме, адресованном мне как командиру части, никто знать не будет.

Присланные Вами копии трех извещений о гибели на фронте Вашего мужа, дочери и брата возвращаю.

С уважением командир воинской части полевая почта № 33073

М. Колдубов.»

24 марта 1945 года старшему сержанту Василию Никаноровичу Голованю, уроженцу станицы Раевская Краснодарского края, было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Приказом Министра обороны от 10 сентября 1945 года Василий Головань зачислен навечно в списки родной части.

А было ему в то время двадцать лет.

IX

Весной сорок пятого наша армия вышла на Одер. Генерал Лучинский отдал приказ инженерно-саперным подразделениям разработать план форсирования реки. Подготовка велась тщательная. Но вот все готово — и ждут только сигнала.

Лейтенант Власов, взглядываясь в очертания немецкой реки, невольно сравнивал ее с родной Волгой, где он родился и рос. По небу плыли густые тяжелые облака. А прямо перед ними, впереди, мутные волны широко разлившегося Одера. Шли последние минуты ожидания. И вот слева — и далеко, и совсем близко — взлетели красные ракеты, и сразу все кругом наполнилось оглушительным грохотом. Наша артиллерия открыла ураганный огонь по вражескому берегу. Рассекая небо и оставляя за собой красновато-белые шлейфы, стремительно неслись к цели снаряды «катюш».

Первый десант на шестнадцати лодках повел лейтенант Власов. Лодки вмещали по пять человек. В ту же минуту, как только началось форсирование, берег ожил, вода закипела от взрывов. Немцы открыли ответный огонь. А через несколько минут над рекой начали кружить «юнкерсы» и «мессершмитты», сбрасывая одну за другой бомбы, пики-

руя и поливая пулеметными очередями переправлявшихся. Но ничто уже не могло остановить советских воинов. Рывок был стремительным, схватка ожесточенной. Гитлеровцы не выдержали, отступили, оставив оборонительные сооружения. Кое-где, правда, они пытались еще восстановить нарушенные связи, пытались контратаковать. По-прежнему над Одером подвешивались осветительные ракеты. И все же к утру, когда на левый берег переправилось еще несколько подразделений, река уже полностью контролировалась нами. А прибывшее позднее подкрепление принесло радостную весть. Войска 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов, ломая глубоко эшелонированную оборону врага, неудержимо продолжали наступление. Путь на Берлин был открыт.

Х

Ночь. Смутно вырисовываются оконные переплеты. В палате тишина. Спят раненые. А Павлу Оборину не спится, и он, скрипя зубами, старается превозмочь мучительные боли в ногах. Иногда впадает в забытие и начинает бредить. Томительно и бесконечно тянется ночь. Сознание временами проясняется, но мысли, словно в неустойчивой круговерти, мечутся, трудно сосредоточиться на чем-то одном. И все-таки невероятным усилием воли лейтенант Оборин приводит мысли в порядок. Теперь нужно все как следует обдумать. И принять твердое для себя решение. Вчера вечером врач при обходе сказал:

— Левую ногу придется ампутировать.

Беспощадная сущность этих слов дошла чуть позже, и Оборин испуганно переспросил:

— Как отрезать? Это невозможно.

— Мы удалим только то, что ниже колена, — с сочувствием поглядывал на него врач. — Под брюками протеза вовсе не будет видно. — И, увидев протестующий жест Оборина, принялся его убеждать. — Но вы поймите: раздроблены лодыжки и стопа, сломаны берцовые кости. На правой ноге — тоже скрытый перелом. У вас температура выше сорока. И если мы левую ногу оставим, может кончиться плохо для вас, непоправимо... Это я вам говорю прямо, как солдату. Другого выхода нет.

— Разрешите подумать, доктор. Нельзя же так сразу...

— Подумайте. Но только до утра. Время не терпит.

И вот лейтенант Оборин лежал и думал, думал мучительно, припоминая подробности этого разговора. Как быть? Мыслимо ли остаться без ноги, калекой! Вспомнил Оборин и старого фельдшера на передовой, когда тот оказывал первую помощь, и слова, сказанные им как бы походя, а вот теперь всплывшие в памяти явственно. «Ты, парень, держись, не соглашайся на ампутацию, — посоветовал он, сделав обезболивающий укол и перевязав раны. — Нога это не то, что хвост у ящерицы, оттяпают — другая не отрастет... Организм у тебя крепкий, молодой. Жить будешь. Поверь мне, старику». И вспомнив совет старого фельдшера, Павел Оборин решение принял твердое и окончательное: «Никакой ампутации. Держаться до конца».

Приняв решение, он сразу почувствовал себя спокойнее. Даже боли в ногах вроде бы уменьшились. И он крепко уснул. Но кажущееся это улучшение было коротким и обманчивым, и последующие несколько дней после отказа от ампутации Оборин находился на грани жизни и смерти. Метался в жару и беспамятстве, бредил, бессвязно и отрывисто произнося одну и ту же фразу: «Не смейте отрезать... Не смейте!»

Наконец усилия врачей и стойкость организма победили. Температура снизилась. И Павел пришел в себя. Ослаб он сильно, однако кризис миновал — и это теперь видели все — и врачи, и медсестры, и сам он, лейтенант Оборин, выдержавший еще одну атаку врага... А главный врач как-то на обходе, осмотрев Павла, покачал головой и удивленно

воскликнул: «Ну, характер! — И слегка склонил голову. — Спасибо за мужество, лейтенант».

Оборин пробыл в полевом госпитале еще несколько месяцев, потом врачи наложили ему на обе ноги гипс и отправили в Киев долечиваться.

Дела шли на поправку, и Павел потихоньку уже ходил на костылях. Но думать сейчас о фронте было немислимо, и он тосковал, находясь в стороне от самых горячих и боевых дел. «Здесь, как в тихом омуте, — жаловался в письмах друзьям. — А у вас там сейчас, представляю, какой сабантуй!»

Однако все предписания врачей Павел выполнял пунктуально, надеясь ускорить этим свое выздоровление и возвращение в свою часть. Но вернуться на фронт ему уже не довелось... Однажды после обеда он лежал на кровати и с увлечением читал книгу. Вдруг из коридора, с улицы донеслись возбужденные голоса, захлопали двери, застучали по коридору чьи-то костыли. И кто-то радостно и громко возвестил:

— Победа! Побе-да!..

Кто-то распахнул дверь в палату и крикнул:

— Вставай, лейтенант! Фашисты капитулировали. Конец войне!

Вскоре госпиталь посетил генерал Лучинский, будучи в Киеве проездом. Оборин обрадовался его приходу, как будто родного отца по-видел. А когда прощались, генерал спросил:

— Может, просьбы какие-то имеются? Говори, лейтенант, не стесняйся.

— Имеются, товарищ генерал. Разрешите долечиться в своей части.

Лучинский вопросительно посмотрел на врача: как, мол, есть такая возможность?

— Вот снимем на днях гипс — посмотрим. Думаю, скоро ваш герой будет в части, — ответил врач.

— Ясно? — обернулся командующий к Оборину.

— Так точно, товарищ генерал! Спасибо.

— Это тебе спасибо, — пожал ему руку Лучинский. — Поправляйся окончательно — и в часть. Дел у нас еще много.

XI

24 июня 1945 года. Этот день сохранится в памяти навсегда. Мы, участники Парада Победы, — в Москве, на Красной площади. Застыли в строю славные пехотинцы, артиллеристы, саперы, разведчики, моряки... Реют знамена. Поблескивают ордена на груди солдат, офицеров и генералов. И вот из Спасских ворот Кремля, ровно в десять, на белом коне выехал маршал Советского Союза Жуков. Командующий парадом маршал Рокоссовский отдал ему рапорт, и оба прославленных полководца стали объезжать войска. Маршал Жуков здоровался и поздравлял воинов с Победой. И громкое, торжествующее «ура» катилось над площадью и прилегающими к ней улицами, проездами. Потом, чеканя шаг, прошли по Красной площади стройные колонны сводных полков, в рядах которых были герои боев за Берлин и Прагу, за Вену и Кенигсберг... Шли победители.

Затем под бой барабанов советские воины бросили к подножию Мавзолея двести фашистских знамен и штандартов.

Смолк оркестр. Отгремели залпы праздничного салюта. Суровая повседневность послевоенной жизни вступила в свои права. И разошлись пути-дороги моих товарищей и друзей-разведчиков из горно-стрелковой дивизии: одни поехали восстанавливать города и заводы, другие пахать и выращивать хлеб, третьи навсегда связали свою жизнь с армией... Но путь к Победе был у нас один — и это святое содружество в борьбе с врагами, эта великая солдатская дружба никогда не будут забыты. Никогда!..



Юдалевич Марк Иосифович родился в 1918 г. в г. Боготоле Красноярского края. Детство и юность прошли в Барнауле. Окончил Омский пединститут. Участник Великой Отечественной войны.

Первая книга стихов вышла в 1948 году. Автор многих поэтических сборников, пьес, а также романа «Тридцать второго не будет», повестей «Газетчики», «Голубая дама», «Пятый год» («Поэт») и др.

Член Союза писателей СССР. Живет в Барнауле.

Марк ЮДАЛЕВИЧ

„Я ГОВОРИТЬ ЗА НИХ ОБЯЗАН...“

Великая Отечественная война, как известно, началась внезапным нападением фашистов, вероломно нарушивших мирный договор с нашей страной. Но тем не менее предощущение войны и неизбежности смертельной схватки с фашизмом жило в народе еще со времени испанских событий. Это предощущение сказывалось и в поэзии. Чтобы убедиться в этом, достаточно перечитать стихи поэтов тридцатых годов. И мои товарищи — тогда начинающие омские литераторы — Георгий Суворов, Николай Копыльцов, Иосиф Ливертовский, Борис Васильев тоже думали и писали об этом.

В «Омском альманахе», например, было опубликовано стихотворение Бориса Васильева «Туча». Оно заканчивалось строками:

Туча, туча — ты уж недалеко,
ты плывешь не так уже чтоб высоко,
до тебя с земли рукой подать.

Предгрозовье очень сильно чувствовалось в исторических поэмах известного уже в то время Леонида Мартынова.

В нынешнем году, в преддверии сорокалетия Победы, мне довелось побывать в Омске, откуда я уходил на войну. Старые, теперь давно перестроенные омские улицы напомнили мне об одной из встреч с Мартыновым, о предвоенном времени. И я написал об этом стихи.

ВСТРЕЧА С ПОЭТОМ ЛЕОНИДОМ МАРТЫНОВЫМ

Помню Омск довоенный,
августовская рань,
разноцветною пеной
окна красит герань.
Медуницей и мятой
пахнет ветер степной,
чуть пружинит дощатый
тротуар подо мной.
А навстречу Мартынов,
видно, шел с Иртыша,
круто голову вскинув,
как обычно, спеша.
В этом царстве герани,
где медовый настой,
он как будто за гранью,
человек непростой.
Он в котором просторе,
да и веке каком?

Может быть, в Лукоморье
изумруднем своем!
Дар провиденья редок,
и один на один
с ним беседует предок,
сам Лощилин Мартын.
И подходит клейменный
утеснительства враг,
губернатор Соймонов,
в прошлом Федька-варнак.
Губернатор в тревоге,
дескать, будет беда,
ведь стоит на пороге
у России орда...
Помню тридцать девятым,
предгрозовья пора...
Это было когда-то —
и как будто вчера.

Стихи рождаются из переживаний, глубоких потрясений. Только пронизывающая сердечная боль и такая же радость лежат у истоков каждого, кто пишет, волнуясь и увлекаясь. Для меня настоящая работа над стихами началась в «сороковые роковые», горевые, но и яростные, победные для нашей страны. Эти стихи составили мою первую книжку «Друзьям», маленькую, во многом наивную, однако дорогую мне, как начальная попытка говорить от имени своего поколения.

Почти все мои военные стихи перепечатывались после войны. Но вот одно из них не было нигде опубликовано. Оно притаилось в старом блокноте. Стихи неумелые, любопытные разве тем, что думал боец 41-го года под Москвой.

МЫ СТАЛИ СЕМЬЕЮ ОДНОЙ

Мы люди различные очень,
но стали семьей одной.
И в ней — горожанин-рабочий,
и в ней — хлебороб коренной.
Студенты и даже профессор.
Что делать — на то и война.
Мы — люди различных профессий,
задача же нынче одна:
из нашей винтовочки русской
фашиста без промаха бить,
в траншее во вражеской узкой
фашиста колоть и рубить.

Пехотная наша бригада
к победе таранит пути,
и каждый сумеет, коль надо,
с гранатой под танк подползти.
Когда ж мы с фашизмом покончим,
кровавые стихнут бои,
тогда хлебороб и рабочий
профессии вспомнят свои.
И снова студент и профессор
вернутся в родной институт.
Припомнятся мирные песни,
окопы травой зарастут.

Мне хочется привести здесь еще одно короткое стихотворение давних лет, которое, наоборот, много раз печаталось, входило в антологию военной поэзии, выпущенную Воениздатом, и в отдельные сборники. Привожу его потому, что оно имеет интересную предысторию. После взятия Берлина мне довелось встретить знакомого танкиста. Вся грудь его была в орденах. Он командовал подразделением, на вооружении которого были танки «тридцатьчетверки», как любовно называли их в армии. Танкист рассказал мне, что эти танки были настолько известны гитлеровцам, нанесли им столько поражений, благодаря своей маневренности и другим боевым качествам, что матерый фашистский вояка генерал Гудерман обратился к своим инженерам с просьбой сделать подобный танк. Инженеры отказались ввиду сложности изготовления мотора. Я, в свою очередь, рассказал танкисту, что выпуск этого мотора, сделать который не сумели фашистские инженеры, был налажен у нас в Сибири.

Разговорившись с танкистом, я шутливо спросил его, где он «набрал» столько наград. Танкист засмеялся и также шутливо ответил, что получил по дороге от Москвы до Берлина. Так и родилось стихотворение «Медали».

МЕДАЛИ

Долго девушка глядела,
у танкиста грудь горит.
— За какое ж это дело
награждали! — говорит.
Указав на две медали,
он сыскал ответ один:

— За Москву вот эту дали,
А вот эту — за Берлин.
И немножечко поспешно,
но солидно заключил:
— Остальные все, конечно,
по дороге получил.

Прошло много лет, но я часто пишу стихи, связанные с войной, с размышлениями и воспоминаниями о том времени. Вот одно из них.

АНКЕТА

Я вновь заполняю анкету —
 привычны бумажные кроссы,
 ответы, ответы, ответы
 на множество разных вопросов.
 Выкладывай все по крупице
 от самой своей колыбели —
 какие поили криницы,
 зачем небеса голубели.
 Выкладывай стилем казенным,
 что думал вельбот на причале,
 зачем зеленели газоны
 и птицы под утро кричали.
 И бродят — не то чтобы мысли,
 какая-то серая вата:

себя виноватым не число,
 но вроде бы в чем виноватый.
 Зачем они все-таки, птицы,
 их посвист, и щебет, и звоны!
 Другая анкета хранится
 в солдатском моем медальоне.
 Там группа указана крови
 и адрес, далекий и милый.
 (Все думалось, станет он вдовым,
 коль в братскую лягу могилу).
 Припомнились красные росы,
 железные ливни густые,
 Анкета — два кратких вопроса,
 а нам доверяли Россию.

И еще одно важное и дорогое для меня стихотворение:

* * *

Я часто слышу: «Пишешь повесть,
 сидишь, как проклятый над ней.
 Смешной старик, ушел твой поезд
 и даже не видать огней».
 Но нет, пока достанет силы,
 молчать нельзя, никак нельзя.
 Во фронтовых глухих могилах
 давно молчат мои друзья.
 А этот мир немирен снова,
 враждуют разные цвета.

Полегшим, им сказать бы слово,
 да вот не разомкнуть уста.
 В болотах вязли мы под Вязьмой
 и люто мерзли под Москвой.
 Я говорить за них обязан,
 пока могу, пока живой.
 И каждой строчкой, от истоков
 и до последней запятой,
 сверяться с доброй и жестокой
 святой солдатской простотой.



Егоров Георгий Васильевич родился в 1923 году в с. Тюменцево Алтайского края. Участник Великой Отечественной войны. Автор романа «Солона ты, земля!», «Книги о разведчиках» и др. произведений. Член Союза писателей СССР. Живет в Барнауле.

Георгий ЕГОРОВ

ПЕРВЫЙ КРУГ

ИЗ ФРОНТОВОГО ДНЕВНИКА

Первую запись сделал я в полевом лагере в Ивановской области. Наша рота была в наряде. Я попал на кухню — колот дрова, выгребал золу, таскал помои. Словом, был Ванькой Жуковым, только селедку не чистил ни с хвоста, ни с головы, потому как выдавали ее солдатам нечищенной. Это мой первый в жизни наряд на кухне. И вообще единственный. Поэтому я и запомнил его хорошо (к слову, мне везло, армия не перетрудила меня нарядами: на кухне один раз был, на губе один раз сидел и часовым стоял тоже один раз, у какого-то склада, очень не понравилось часовым стоять, тяжело, особенно под утро). Так вот в тот день в наряде на кухне, когда я выплескивал кухонные ополоски, увидел на помойке большой лист оберточной серой бумаги. Что в ней, в этой бумаге, могло быть упаковано из солдатского провианта, до сих пор не могу понять. Лист был чистым и не мятым — только что выброшенным. Позже, улучив свободную минуту, я забился в угол под навесом (кухня помещалась в плетеной из тальника загородке, покрытой хворостом, через который во время дождя лилось все внутрь) и сшил из листа небольшую — чтобы в карман брюк вошла — тетрадку. Первую в ней запись сделал, по-моему, на следующий день. Той самодельной тетрадки, к сожалению, уже нет — в конце января 43-го я добыл трофейную записную книжку, переписал в нее все, что было мною записано в самодельной тетради, а ее выкинул. Причем, как помнится, без сожаления — неудобная она была, мялась в кармане и писать в ней было плохо, бумага была шершавой, в ней попадались даже щепки, не говоря уже о другой недоброкачественной примеси.

До самого перехода во взвод разведки я никогда не расставался со своим дневником, с той неровно обрезанной с топорщившимися листками тетрадкой, не оставлял ее ни в вещмешке, ни в шинели, никому ее не показывал, ни с кем о ней не говорил. Это была моя тайна. Все время тетрадка была в левом кармане брюк (карманов на гимнастерке солдату не положено было). Я тогда не знал — к моему счастью, — что был приказ чей-то, запрещающий вести дневники в действующей армии. Узнал я об этом недавно, почти через сорок лет, вычитав это у К. Симонова, который, кстати, назвал его не самым умным приказом. Не знаю, будь мне ведом тот приказ, вел ли бы я дневник — наверное, все равно бы вел, ни в какие тайны я посвящен не был (что мог тогда знать рядовой солдат!), никакой ценности для постороннего он не составлял. Тем более, дневник был сплошь патриотическим, по-юношески восторженным.

17. VIII. 42 г.

Сегодня знаменательный день в моей жизни — вручили боевое оружие. На днях, наверное, отправят на фронт.

В руках у меня сейчас та самая винтовка-трехлинейка, с которой русский солдат прошел три войны, с которой мой отец плечом к плечу с партизанским героем нашего Алтая Федором Колядо партизанил по сибирским просторам в гражданскую войну. И вот эта самая винтовка вручена мне. Теперь русский солдат — я. Мне время пришло защищать Россию. Как-то непривычно это. Неужели я уже взрослым стал...

Винтовка показалась мне тяжелой. Не потому, что раньше не держал ее в руках, нет. Я даже, по-моему, несколько раз стрелял из нее в школе в осоавиахимовском кружке и в учбате, где проходил азы солдатской службы. Но то было совсем другое. Там — дали винтовку, лег, выстрелил с упора по мишени, поднялся и отдал ее. А тут — целый день она у тебя в руках. Непривычно поначалу. Но вес ее, кажется, я до сих пор ощущаю в своих ладонях. И номер помню. 192319 — год моего рождения, плюс возраст мой тогдашний. Только букву не помню перед цифрой. Не то «В», не то «Б». А, может, еще какая. Уже через несколько дней моя винтовка казалась мне лучше других, и ее я отличал в пирамиде от всех остальных еще издали.

25. VIII. 42 г.

С утра погружали продукты в эшелон. К вечеру отправились на фронт.

Поезд быстро мчит нас на юг. Перед вагонами мелькают подмосковные города и селения. По обе стороны дороги насажены деревья, кругом зелень, на полях стоят в суслонах рожь и пшеница.

Настроение у всех приподнятое. Поем песни.

С каждым днем ехать теплее — чувствуется приближение юга.

Деревянные постройки сменились постепенно белеными украинскими хатами с густыми садами.

Полесье сменилось широкими степями.

Проехали Дон. Он меня разочаровал. Я его представлял шире нашей Оби, а он, оказывается, гораздо меньше.

Не помню, как грузились. Помню, как ехали — на фронт, как на праздник. Мальчишки. Словно на увеселительную прогулку собрались. Знали ведь, что непременно кого-то (причем не одного и не двух) через несколько дней убьют, значит, кто-то из нас смотрит на проплывавший за открытыми дверями теплушек мир в последний раз. И все-таки не унывали. Интересно устроен человек. Даже сейчас, когда у меня накопился букет всевозможных болезней, я все-таки строю планы на будущее, стремлюсь их выполнить, усердно работаю над большим романом...

А тогда — тем более.

Ехали к фронту, настроение было приподнятое. Приподнятое потому, что все делалось впервые, все виделось впервые. Радостно — мы едем на фронт. Мы — взрослые, мы — солдаты.

29. VIII. 42 г.

Стоим в Харьковской области. Меня удивила дешевизна продуктов здесь, в прифронтовой полосе. Молоко — 20—30 руб., яйца — 70 руб.

Видимо, в записи что-то напутано. Едва ли мы заезжали в Харьковскую область. По-моему, из Ивановской области в Сталинград ехать через Харьков слишком непопутно. Скорее всего это была Воронежская область. Для меня тогда перепутать Харьковскую с Воронежской было проще простого — одинаково далеко от Сибири. Я и сейчас то Акмолинск с Актюбинском путаю. Хотя в каком-то из этих городов бывал проездом...

30. VIII. 42 г.

Больше стоим, чем едем. Погода прекрасная, даже жаркая.

Послезавтра начинается осень — начнется новый учебный год в школах. А для меня, быть может, начнется новая боевая жизнь.

1 сентября 1942 г.

Сколько нового приносил для меня этот день! Сейчас (точно в эти минуты) наша школа полна веселых детских голосов.

Что сейчас там делается!

Кто из старых учителей остался в ней?..

Вот уже ровно сутки наш эшелон стоит на станции в Балашове. Перегружаем продукты.

Я мечтал этот замечательный для меня день встретить на фронте под пулями. Но ничего к МЮДу я буду на передовой и тогда напишу в школу письмо.

Я написал письмо в школу. Помнится, просил сообщить мне, кто из моих одноклассников на фронте и что пишут в школу (я почему-то был убежден, что в школу будут писать все мои одноклассники), просил адреса. И, видимо, ребята писали — не один же я так был привязан к школе.

Теперь, десятилетия спустя после войны, мне иногда приходится бывать в школах, разговаривать с ребятами, с учителями, и я не помню, чтобы где-то в школе хранились письма ее выпускников предвоенных и военных лет. А письма эти в свое время школа, несомненно, получала. Какая это была бы ценность сейчас для юношества — для внуков и правнуков бывших фронтовиков! Не сохранили. Не сохранилось, к сожалению, и мое письмо в родной школе.

2. IX. 42 г.

За сегодняшнюю ночь мы проехали всего 15 километров.

Вчера узнали, что ехавший впереди нас 2-й батальон 1075-го стр. полка попал под бомбежку. Погибли командир и комиссар батальона.

В теплушках стало тихо. Пахнуло войной. Присмирели ребята на нарах. Уже не пели песен, почти не шутили.

5. IX. 42 г.

3-го, не доезжая до Камышина километров 30—40, выгрузились на каком-то разъезде. Вымылись в бане и вечером отправились в поход.

Сегодня знойный день, пот льет в семьдесят ручьев. Я натер ноги, отстал от подразделения. Наши далеко ушли. Кругом степь, сухая колючая трава и ни капли воды.

На дневку остановились на хуторе Почта.

Как сейчас помню эту степь — выжженную, колючую, с белым раскаленным и неподвижным солнцем над нею. Такого неумолимого сухого зноя я никогда в жизни больше не знал. Удивляюсь сейчас, как это никого из нас тогда солнечный удар не хватил. Не все же ведь были крепкими и закаленными. Если в пустыне еще жарче, тогда зачем искать какую-то преисподнюю — сгонять туда грешников и вся недолга...

Мы шли, как роботы — мозг не работал, не соображал, по-моему, ничего, шевелились одни лишь ноги. Машинально: туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Автоматически передвигались. Желание было только одно: пить. С утра до ночи — весь длинный-предлинный день — хотелось пить. В мозгу это было забито гвоздем. Не страшен был ни приближающийся фронт, ни ежеминутная возможность появления немецких самолетов. Нас спеленало безразличие, отрешенность от всего. Лишь где-то в уголке сознания, в самой его глубине теплилась еще одна мысль: как бы дотянуть до вечера, не отстать от колонны. Наш заградотряд шел последним в дивизии, и если отстанешь, подвезти тебя уже некому... А ноги сами собой шагали, шагали, шагали. Казалось, слышно было, как они в суставах двигались: туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда — словно заведенные, механические. Толкни любого из нас в это время хоть слегка — нарушь уже установившийся ритм — и человек упадет.

Когда донеслась команда «Прива-ал!», было трудно согнуться — словно заклинило ноги в бедрах. Кряхтя и охая, стали стаскивать с себя шинельные скатки, противогазные сумки, каски, расстегивать поясные ремни, на которых висели малые саперные лопатки, начали ложиться.

— Всем разуться! — наш взводный лейтенант Пачин, перешагивая через повалившихся бойцов, зорко осматривал каждого. — Портянки просушить... Можно попить.

— У кого осталось, — вставил кто-то.

У кого-то еще осталось энергии на шутки.

— Сейчас нам скажут, где можно набрать воды, — объяснил нам лейтенант.

На дневку остановились не в самом хуторе, а с километр от него, в кустах. Конечно, в хуторе вода есть. Но это же — идти туда. Я согласен побыть без воды, лишь бы не двигаться. Силы не было повернуть голову и посмотреть, как кое-кто, не дожидаясь команды, побрел к селению — у кого-то еще силы были пройти этот километр, я уже не мог.

В тот день, 5-го сентября, мы до вечера пролежали в чахлах кустиках. Было запрещено ходить и вообще маячить в степи — в любое время могли налететь немецкие самолеты.

13. IX. 42 г.

7-го вечером мы с лейтенантом Пачиным ездили на «особое» задание.

8-го наш марш продолжался только уже в другом направлении, через хутор Спартак на ст. Котлубань. За первую ночь мы прошли 65 километров. Дневали около хутора Спартак.

За вторую ночь прошли 30 км. Двое суток рыли окопы далеко от передовой. Грунт твердый, работа подавалась очень медленно.

За двое суток вырыли хода сообщения глубиной 70—90 см. Такого грунта я еще не встречал нигде — глина с примесью известняка.

Немецкие самолеты частенько летают сюда бомбить. Вчера после обеда попал под бомбежку 1073-й полк.

«Особое» задание, о котором упоминается в начале записи, заключалось в том, что лейтенант Пачин с нами, тремя солдатами, ездил подбирать отставших. То расстояние, которое мы накануне с великим трудом преодолели пешим ходом за целый день, теперь на машине проехали за час. И не такая уж эта, пройденная нами вчера степь, была ужасная и безжизненная. Напротив, степь была удивительно ровной и даже красивой...

Доехали до какого-то села. Пошли по улицам, заглядывая в каждый двор. Лейтенант впереди вышагивал. Ноги у него сильные, в икрах полные, голенища сапог в обтяжку, ногу ставит на всю ступню пятками чуть наружу. Я не помню лица лейтенанта, зато хорошо помню его затылок, спину — я по росту шел первым в отделении и поэтому лейтенант, шагавший впереди взвода, всегда был перед моими глазами. И тут тоже мы шагали за нашим лейтенантом с винтовками на ремне.

Троих или четверых, в одиночку бродивших по улицам, мы задержали. Не помню что, но каждый как-то объяснил свое пребывание здесь. Лейтенант остановил идущий в сторону фронта грузовик, посадил задержанных в него и отправил.

Вот и все наше особое задание, которое дал нам ротный, видимо, по приказу командира заградотряда.

Ночевали мы в избе. Лейтенант купил у хозяйки полведра картошки. Она сварила ее в чугуне и поставила на стол. Мы шкурили ее, макали в крупную толченую соль и, обжигаясь, ели. Поглядывали друг на друга веселыми глазами. Вкусно было до неимоверности. Хозяйка смотрела на нас, сложив руки на животе, сочувственно качала головой. Потом вышла в сенки, принесла глиняную кринку молока, поставила на стол и опять молча отошла к печи. Наверное, малыши детьми были мы для нее. Жалостливы все-таки русские бабы. Не первые же мы у нее ночевали. И, видимо, с каждым вот делилась из последнего.

Утром на попутной машине мы вернулись в свое подразделение.

Едва солнце начало спускаться к далекому горизонту, началось оживление сначала среди командиров — они забегали в разные стороны, потом зашевелились солдаты, начали натягивать гимнастерки, собирать и разминать высохшие до хруста портянки, обуваться не спеша.

Первая рота тронулась. Немного погодя — вторая. Потом уж — наша. Соблюдается приличная дистанция между ротами.

Двигались две ночи. Ничего примечательного не осталось в памяти. Помню только, что первый марш закончился чуть ли не перед самым обедом. И я очень удивился, когда сказали, что мы прошли 65 километров. До сих пор не верю, что способен был на преодоление таких расстояний.

Хорошо помню бугор — чем ближе к ст. Котлубань, тем чаще стали попадаться низины, называемые здесь балками. Попадаться стали и возвышенности. На одном из этих бугров нашему заградотряду приказано было окапываться. Вот и долбили мы два дня эту глину с примесью известняка.

С нашего бугра степь просматривалась далеко-далеко. Уже здесь мы слышали постоянный гул фронта. А по вечерам смотрели, не отрывая глаз, на зарево, полыхавшее где-то за горизонтом. Нескольким раз видели всполохи в треть неба и при этом слышали свистящее шипение, будто из паровоза где-то далеко спускали пар. Никто из нас не знал, что это такое. Про «катюшу» мы еще не слышали. А это были «катюши».

17. IX. 42 г.

Позавчера вышли ближе к переднему краю. Шли ночью. Вчера, не доходя до ст. Котлубань километра полтора, с утра попали под бомбежку. Бомбили целый день около 25 самолетов.

Мы лежали в мелких щелях. Когда они сделали первый залет и с воем сирен начали пикировать, и особенно когда шальные пули и осколки начали втыкаться в бруствер моего окопа, меня бросило в дрожь. Трясло так, будто меня только что окунули в прорубь и поставили на пронизывающем до костей ветру. От дрожи ломило в пахах, под коленками и во всех суставах.

Лежа на спине, я видел кружащиеся самолеты, видел, как от них отрывались по две-три бомбы и с нарастающим воем летели на нас.

Добавить к этой подробной записи какие-то детали бою. С этой записью у меня связан в жизни любопытный казус.

А произошло вот что. После войны, вспоминая свои фронтовые дела, я непременно рассказывал о первой бомбежке и, рассказывая, почему-то был убежден, что я ни капельки не боялся, что у меня было одно лишь ребячье любопытство во время бомбежки, что я высовывался из окопа, крутил головой, смотрел, как заходит на пикирование бомбардировщики, как рвутся бомбы и будто бы я не боялся совсем не потому, что храбрее других, а просто толком не понимал всей трагичности нашего положения. Откуда я это взял — понятия не имею. Но только не из хвастовства. В этом я убежден. Потому что я, вроде бы, никогда не был высокого мнения о своей личной храбрости. Может, что-то все-таки было, может, в начале бомбежки и было у меня любопытство, но сомневалась, чтобы оно длилось долго. И так я время от времени рассказывал не год, не два. Потом лет через двадцать решил: дай-ка посмотрю, что у меня записано по поводу первой бомбежки в дневнике (я хорошо помнил, что записывал что-то в перерывах между бомбежками). Посмотрел и глазам своим не поверил: там записано все наоборот, противоположное тому, что я рассказывал.

Как это произошло, до сих пор понять не могу.

23. IX. 42 г.

5 часов утра. Через несколько минут идем в наступление. Во сне видел какую-то девушку, кажется, кого-то из моих одноклассниц.

Но «через несколько минут» мы в бой не пошли. Видимо, слух был ложным. Нас только выдвинули на передовую. Не помню, чтоб она показалась мне столь ужасной, какой представлял ее на том бугре за хутором Спартак, где в каменной глине копали мы окопы. Помню другое: здесь днем я глупо и опасно играл со снайпером — значит, не так уж был перепуган, не такой уж преисподней она мне показалась, эта передовая.

А со снайпером было такое. Днем передовая мертва. Все сидят по окопам и не высовывают головы — опасно. Немецкие снайперы щелкают поминутно по каждому высунувшемуся из окопа. Где-то, должно быть, близко сидели. Меня, помню, обуял какой-то телячий восторг. Это я хорошо помню. Бегал к соседу в окоп прикуривать, просто поболтать. К лейтенанту Пачину перебежал. Ко мне прибежали ребята. А кругом беспрестанно щелкали пули. Щелкали и никого не убивали... И почему-то артиллерия на сей раз не стреляла ни наша, ни немецкая.

Поэтому мы и думали: не так страшен черт... А потом как-то я неосторожно высунулся из окопа, над головой чиркнула пуля. Я понял, что стреляет снайпер и стреляет именно в меня. Я высунулся опять и тут же присел. Пуля чиркнула по брустверу. Выглянул снова — пуля шелкнула о бруствер, за воротник мне посыпалась земля. По-моему, до трех раз я дразнил этого снайпера. А потом вдруг ударила мысль: а если не успею присесть? Пуля влетит прямо в лоб. Каска не спасет от пули. И я сразу же весь покрылся испариной — со смертью играю. И до самого вечера — пока снайперы не прекратили стрельбу — сидел в окопе притихший. Прикуривать у соседа просил уже, не высовывая головы. Тот перебрасывал в мой окоп кресало, кремь и жгут, я высекал огонь, прикуривал и эту «катушку» таким же путем возвращал ему.

30. IX. 42 г.

23-го выдвинулись на передовую. Перед наступлением надо было позавтракать. Батальонные кухни уже кормили народ, а нашей, заградотрядовской не было. Старшина послал меня и Пентина разыскать ее и привести ближе к передовой. Мы спустились с бугра, где сидели в окопах, и пошли сначала по балке, потом вышли на равнину. Шли рядом, о чем-то разговаривали. Впереди показался разбитый эшелон. Справа от нас кто-то стрелял трассирующими пулями. Мы недоумевали: неужели заблудились и идем вдоль фронта? Вдруг несколько пуль просвистело рядом — ясно, стреляли по нам. Мы залегли. Лежали долго. На фоне неба перебежали силуэты людей, по ним-то и стрелял автоматчик. Потом показалась артиллерийская упряжка. Автоматчик замолчал. Когда она подъехала ближе, автоматчик одной очередью сбил верхового и ездового на передке.

Мы полежали еще с полчаса. Кругом было тихо, только возле убитой лошади кто-то постанывал и на фоне посветлевшего неба были видны согнутые колени, которые беспрерывно сводились и разводились.

Мы поднялись и пошли (мы слышали, что с наступлением утра автоматчики уходят обратно к себе). Я шел справа, Пентин — слева (подбитый танк, в котором сидел автоматчик, был от нас справа). Не успели сделать несколько шагов, как раздался треск автомата, и между моих ног промелькнуло несколько трассирующих пуль. В то же мгновение Пентин упал и застонал. Я тоже упал. Спрашиваю:

— Куда ранен?

Молчит, только сдавленно, сквозь зубы мучительно стонет. Я снова спросил.

— В ногу, — ответил он.

Я достал индивидуальный пакет и лежа начал сматывать с его ноги обмотку. Потом завернул штанину и нечаянно наткнулся рукой на что-то теплое, мягкое, из которого торчали острые концы раздробленных костей. Быстро перевязал ему ногу и стал тащить его волоком по земле. Не знаю, сколько мы ползли. Но начало уже светать. Я изнемогал от усталости. Немец уже давно не стрелял. Я говорю Пентину:

— Давай встанем на ноги и пойдем, я тебе помогу.

Он согласился. Мы поднялись. Я закинул на правое плечо винтовку, обхватил его за талию и только хотели сделать первый шаг, как что-то за спиной у меня со скрежетом блеснуло и сильно толкнуло меня в правое плечо да так, что рука упала, как плеть. Мы оба рухнули на землю.

— Я ранен в плечо, — сказал я Пентину.

— Иди. Я как-нибудь один доползу, до воронок, там люди — помогут. — В голосе у него слышалась тоска и безнадежность.

Я взял в левую руку винтовку. Ее цевье было расщеплено. Оказывается, пуля попала в ствол и рикошетом ударила в плечо. Я вскочил на ноги и побежал по направлению подбитых артиллерийских передков. Автоматчик еще раза два по мне стрелял, но не попал.

В воронке, куда я свалился с разбега, сидело четыре артиллериста. Я сбросил шинель, гимнастерку и обнажил плечо. Оно было вспухшее, слегка сизоватое. Из небольшой, в палец диаметром, рваной раны отходил легкий парок. Крови не было.

— Это, парень, у тебя с перепугу, — сказал мне пожилой артиллерист. — Жилы перехватило — и кровь не идет.

Мне быстро перевязали плечо. Я сказал, что в полсотне метров отсюда лежит мой товарищ, раненный в ногу, и просил помочь ему добраться до воронки.

12. X. 42 г.

Рана моя уже заживает, хотя короста еще не сошла. Завтра выпишывают из госпиталя.

За последние дни я прочитал несколько книг из здешней библиотеки. Из них главное — два сборника стихов Вл. Маяковского. Обратил внимание на пьесу К. Симонова «Русские люди». Какая ерунда! Сюжет примерно такой: одну половину города заняли немцы, в другой — окруженная группа наших бойцов и командиров во главе с капитаном Сафроновым. Они пытаются прорваться через железнодорожный мост.

Автор слишком перестарался и переборщил голубой и зеленой краской. Кругом лирика. Среди группы окруженных были девушки и женщины. Возникает любовь и прочая целомудрия.

Немецкий шпион показан глупым и наивным.

Пьесу, по-моему, напечатали не как художественное произведение, а как агитационную брошюру.

16. X. 42 г.

Шел солдат с фронта — и опять на фронт. 13-го выписали в запасной полк, хотя рука и не совсем свободно поднимается.

Вчера был на расформировочном пункте (в 30 км от Красного Яра). На окраине села около березовой рощи обнесен оградой большой двор. В нем и расположили этот пункт. Сейчас со старшиной Зайцевым Н. М. на нашем конечном пункте, в селе Большое Судацье. Добрались хорошо. Шли не спеша от деревни до деревни.

17. X. 42 г.

Живем с Зайцевым сейчас хорошо. До этого я все время находился то в лесу, то в дороге на фронт, то в степи. Кажется, уже начал привыкать к военной жизни. А тут несколько дней пришлось пожить в крестьянской хате на положении гражданского. Не стоит перед тобой командир, нет подъемов и отбоев. Бригада еще не прибыла, и мы с Зайцевым жили на хозяйских харчах.

20. X. 42 г.

Вчера сюда прибыл 31-й запасной полк 10-й зап. бригады. Меня зачислили в 11-ю спецроту 3-го батальона во взвод шоферов. Отсюда будут другие части брать пополнение.

23. X. 42 г.

Сегодня приходили «покупатели», взяли несколько человек шоферов. Может быть, попаду в какую-нибудь авточасть. Вчера послал домой письмо.

25. X. 42 г.

Воскресенье. Сегодня стирали и жарили свое белье. Живем по-прежнему на частных квартирах. Этот месяц, начиная с моего ранения и пока по сегодняшний день я был все время сыт. Не знаю, как будет дальше. Живем так: прожил день, жив — хорошо, а дальше видно будет. Не задумываемся о будущем, будет день — будет пища.

7 ноября 1942 г.

Сегодня в ночь в Большом Судачьем выпал первый снег и, наверное, совсем. Покров сантиметров в 15—20.

Настроение совсем не праздничное, хотя на обед сегодня дали кашу и по кусочку мяса. Почему-то весь день думаю о доме. Никогда этого не было раньше. Только с какой-то тайной надеждой ждем все выступление Сталина. Что скажет он, чем обрадует, когда конец войне?

Четвертый день нахожусь в 104-м отдельном батальоне ПТР. Числюсь лаборантом при боепитании — что это такое, не представляю.

13. XII. 42 г.

Вот скоро уже месяц, как я живу в Большом Судачьем. Хочется отметить некоторую особенность в быту местных жителей.

Здесь, например, говорят «сипуга» вместо «вьюга», «ледящий» вместо «худой», «вар» — вместо «кипяток» («картошка с варку!»), «шабалы» — вместо «одежда», «нусилкой» — вместо «силой, насильно», «гамезей» — точно не знаю: или же это магазин или амбары с зерном...

Р. С. В штабе поговаривают об отправке нашего батальона на фронт...

18. XII. 42 г.

Ровно месяц тому назад в маршевой роте полубольной я отправился на ст. Матышево. Туда выехала на формирование 233-я стр. дивизия. 20 ноября прибыли на ст. Иловля. Ехали в товарных вагонах, ветер пронизывал вагоны насквозь. Всю дорогу я не поднимался с нар. Температурило. Когда выгрузились на ст. Иловля, часа четыре топтались около разрушенного станционного здания. Утром только пришли за нами представители из дивизии. Отвели на какой-то хутор и расположили в сарае. Здесь с температурой выше 38° я пробыл еще одни сутки на морозе.

21-го утром пришел генерал, командир дивизии, и начал распределять по частям. Объявили набор в разведку. Я колебался. Потом вышел вперед. Нас набралось больше десятка. Меня лихорадило, я еле держался на ногах. Генерал что-то говорил нам. Помню только, что он обещал не разменивать разведчиков на мелочь, а будет посылать на большие, крупные дела.

В доме, где размещались дивизионные разведчики, нас накормили. Стало тепло не то от горячей пищи, не то в самом деле комната была жарко натоплена.

К вечеру ротная медсестра спросила, кому нужно в санбат и повела нас двоих или троих. Там измерили мне температуру, ощупали под подбородком и положили в стационар. А в ночь на машине отвезли в госпиталь.

Через неделю, когда дело пошло на поправку, начал ходить по палатам, если можно так сказать про две классные комнаты и небольшую учительскую, где помещалась Зина Иванникова — девушка из авиаполка. Здесь я чаще всего бывал — интереснее. Она рассказывала о своем полку и с нетерпением ждала, когда ее выпишут, чтобы попасть обратно туда. Получала оттуда письма. Она считала полк своим вторым домом. Мне казалось это странным. Я, например, никогда не рвался в свою часть. Часто она пела песни. Хорошо запомнилась одна, которую от нее я услышал впервые: «Пусть дни проходят, идет за годом год...»

11 декабря после обеда меня выписали. Я пошел до Большой Ивановки — полтора километра от госпиталя. После болезни получилось осложнение на ноги. Ломило в пахах, и ноги не повиновались. С трудом дошел до села. Дотемна искал ночлег — в каждой хате битком набито военных. Утром позавтракал в продпункте, получил продукты и отправился до регулировщика. Он посадил меня на машину. К вечеру добрался в 210-й зап. стр. полк.

Таким образом, с 13-го нахожусь в батальоне выздоравливающих. Ноги по-прежнему плохо ходят.

Морозы начинают крепчать. Хорошо, что я успел получить зимнее обмундирование.

20. XII. 42 г.

19-го началось наступление наших войск под Сталинградом. Окружена немецкая группировка в составе 22-х дивизий. Штабные офицеры улетают на транспортных самолетах.

Среди населения и бойцов ходят слухи, что немец просит мир. На Центральном фронте его тоже жмут. Неужели и в эту зиму с ним не кончат.

Р. С. Сейчас 24 часа. Я дневальный по комнате. Делать нечего, начинаю подбивать итоги своей жизни.

Что я видел, чему научился и что сделал полезного за свою жизнь.

Видел, особенно за последние 4—5 месяцев, немало. Перенес тоже порядочно — за полгода изменился до неузнаваемости (на днях мне один боец определил, что я года с 1909—10 рождения). А вот сделать пока что ничего не сделал. Через восемь дней мне стукнет девятнадцать. Оглянулся, а сделанного за эти годы ничего нет ни для себя, ни для людей. А Сталин говорил, что жизнь измеряется не количеством прожитых лет, а проделанной работой. А поэтому с меня доста-

точно, если я смогу прожить после войны лет пять, чтобы написать книгу... А все-таки жаль погибать в таком возрасте!..

21. XII. 42 г.

Вчера смотрел кино «Машенька» выпуска 1942 года. Показан период войны с Финляндией. Когда началось кино и заиграла музыка, я забыл все на свете. Я нарочно заставлял себя подумать о своем настоящем положении. И никак не мог себе представить, что я нахожусь в армии и что кругом идет война, что я сижу не в барнундском кинотеатре, а где-то на хуторе за много тысяч километров от родины. Я чувствовал себя самым счастливым человеком на свете.

Это была моя последняя запись в старой самодельной тетрадке из серой оберточной бумаги. После 21-го декабря 1942 года события пошли бурно, начали захлестывать одно другое — писать стало некогда. Не возвращался к дневнику целый месяц. Но какой месяц!

Кончилось «сачкование» в запасном полку, в госпитале, в команде выздоравливающих — три месяца околичивался в тылу, хотя в госпитале из-за ранения пробыл лишь двадцать дней. И вот снова еду на фронт. Это вторая моя дорога на фронт (впереди еще пять ранений, четыре возвращения — и каждое из них не похоже на все остальные). В этой второй поездке была и своя новизна: я не испытывал страха, не было чувства обреченности. И все, должно быть, потому, что не было ничего похожего на первую поездку: ехали не на поезде, а шли пешком, не было испепеляющего зноя, с которым связано пребывание на фронте, а стояла зима, было тихо, о немецких самолетах забыли и думать (они лишь ночью крадучись прорывались с грузом к окруженным войскам), и главная, конечно, новизна была в том, что немцы-то были уже не те, далеко не те — обреченные, в окружении.

А если по порядку рассказывать о моем втором пути на фронт, то это было так. В деревне мы жили в избах (по-моему, хозяев в них почему-то не было), сами мыли полы, готовили пищу. Занятий вроде бы никаких не было. Было уютно и хорошо. Вот еще одна совсем непредвиденная зацепка по дороге на фронт...

Не помню, как меня зачислили в маршевую роту, как попал в хутор Вертячий. Помню только себя в Вертячем, в строю, в день моего рождения, 28 декабря. Ночь перед этим провели в каком-то сарае, забитом соломой вперемешку с мякиной. Конечно, было холодно. Очень холодно. Невыносимо холодно...

Потом было распределение по батальонам. А перед этим командир полка спросил желающих пойти в разведку. В полковую разведку, в пеший взвод. Я вышел первым добровольцем. Мне и поручил тогда командир полка вести новичков-разведчиков от хутора Вертячьего до балки Глубокой, где размещался штаб 971-го стрелкового полка 273-й стрелковой дивизии.

Хорошо помню свою первую вылазку за «языком» на следующий день. Когда взводу представляли новичков, командир полка сказал нам, новичкам, что если есть желание у кого посмотреть, как берут «языка», то сегодня могут пойти и посмотреть. И я опять изъявил желание. Собирали меня всей землянкой — кто дал автомат, кто — маскхалат, кто — валенки.

В ту ночь не был я сторонним наблюдателем за действиями наших разведчиков из окопов стрелковой роты. Я ходил туда, к вражескому дзоту вместе со всеми. И не потому, что такой уж храбрый и что мне не терпелось проявить себя. Нет. Просто не знал, где мне надо было остаться, не знал, где и когда мы пересекли нашу передовую линию

окопов. И когда мне наш комсорг Иван Сыпченко показал рукой на ходившего почти рядом с нами гитлеровского часового, я тогда только понял, что мы уже на вражеской территории. Я впервые видел живого вооруженного немца. И что меня больше всего удивило в тот момент — совершенно не испытал страха от такой близости. Это точно помню. Мы долго, очень долго лежали, не шевелясь, что называется, под носом у этого часового, так долго, что я... уснул. Значит, я действительно не боялся в ту мою первую ночь на «нейтралке».

30. I. 43 г.

28-го мы участвовали в боях за «Баррикады». Потом нас отвели на отдых. Здесь мы с Неверовским заводили трофейный «форд». Завели, на малых оборотах работает. При полном газе глохнет. Сегодня бросили его. Завтра пойдем искать другую машину. Благо, что их тут полным-полно брошено. С нами заводил пленный немецкий шофер.

Бои идут в городе. Немецкая группировка почти уничтожена.

Мамаев курган мы обходили слева — то есть с севера. Я не знаю, в чьих руках был 28-го января этот курган (сейчас, конечно, можно бы выяснить по многочисленным публикациям, но я пишу не летопись сталинградской битвы, свои собственные солдатские впечатления). Как выглядел сам курган, не помню. Он, по-моему, весь был в морозной дымке. Перед «Баррикадами» (мы тогда не знали, что так называется завод. Я, например, думал, что это уличные баррикады, какие были на Красной Пресне в Москве в девятьсот пятом году) было огромное количество дров, пиленых и колотых. Длинные поленицы тянулись в несколько рядов. За ними хорошо было прятаться от пуль. Пули ударяли о мерзлые поленья, щелкали, а иные рикошетили (иные, а не каждая пуля, как это сейчас бывает в некоторых кинофильмах о войне), с воем уходили вверх. Заканчивалась самая грандиозная битва в истории человечества. Все ждали капитуляции окруженной группировки — ждали с часу на час, с минуты на минуту, поэтому никому не хотелось рисковать жизнью и погибнуть в эту последнюю минуту. Солдаты кучками сидели между поленицами, жгли бледные, бездымные костры, грелись около них — благо, дров было вволю. Стрельба со стороны противника была вялая — гитлеровские солдаты явно не хотели воевать дальше, не хотели сопротивляться.

Прошел слух, что командование ведет переговоры о капитуляции окруженных, поэтому мы и не наступаем. Передовая — это как большая деревня, она всегда наполнена всевозможными слухами. Откуда и каким путем они сюда проникают, никому не ведомо. Но солдат всегда все знает.

К вечеру двадцать восьмого переговоры, видимо, не дали положительных результатов. Стали выдвигать артиллерию. Мы, разведчики, вышли на нейтральную полосу, ближе к заводу. «Языков» уже не надо было, но уточнить передний край противника надо. Арка с названием завода осталась уже позади. А завода впереди никакого не было — совершенно ничего не было. Груды битого кирпича — и только. Посреди этих развалин (уже позади нас) возвышалась высокая кирпичная арка, вся издолбленная осколками и пулями — как только уцелела! По верхней перекладине арки были выпуклые мозаичные буквы «Баррикады». Их далеко было видно. Больше никаких признаков завода. И вот по этому пустырю начала бить наша артиллерия. К вечеру, уже в сумерках, мы заняли то, что когда-то называлось заводом — территорию, сплошь изрытую траншеями, подземными ходами сообщений, бункерами.

Тут меня ранило. Шальной осколок, уже на излете, угодил в правую ногу ниже колена. Сразу его и не почувствовал. Лишь через несколько минут понял — при ходьбе что-то начало покалывать. Зашел в немецкий бункер, спустил штаны — торчит черный уголок. Маленькая струйка крови от него. Потянул — больно. Рванул (пока в горячах) — выдернул с двухкопеечную монету плоский осколок. Пошарил по карманам — бинта не оказалось. Поплевал на палец, замазал слюной ранку. И побежал догонять ребят по ходам сообщения. Ни в какой, конечно, тыл идти не собирался — зарастет и так. И хотя потом, неделю спустя, произошло загноение, и мне пришлось лечь в санчасть, я все равно не жалею, что не ушел тогда в санчасть — я присутствовал и в какой-то степени участвовал при завершении сталинградской битвы.

Сейчас, когда я бываю на Мамаевом кургане и поднимаюсь к подножию монумента «Родина-мать», я всегда подолгу смотрю на север, к подножию кургана, стараясь как можно точнее определить место, где стояли тогда, в конце января сорок третьего, поленицы дров, откуда мы наступали на «Баррикады». И мне всегда кажется, что точно нахожу это место. Там и сейчас пустырь (только нет полениц).

3. II. 43 г.

17.00. Вчерашний день войдет в мировую историю как день окончательного уничтожения немецкой группировки под Сталинградом. Двадцать две отборных немецких дивизии нашли себе могилу в сталинградских степях. Главнокомандующий этой группировкой фельдмаршал Паулюс с шестнадцатью генералами еще 31-го января сдался в плен.

Вчера наши забрали тракторный завод — последний оплот немцев.

1-го наши весь день вели артподготовку. Весь тракторный смешался с землей. Над городом непрерывно висят наши самолеты. Рано утром вчера первой «заиграла катюша», а затем весь день до вечера тряслась земля от взрывов. Невольно вспоминаешь: «И залпы тысячи орудий слились в протяжный вой».

Позавчера, вчера и сегодня день и ночь идут в тыл пленные. И что же они представляют из себя, эти «великие завоеватели, покорители мира»? Хромые, безрукие, израненные, обмороженные, истощенные, голодные, изъеденные вшами людишки. И каждый из них теперь долдонит: «Гитлер — капут», «Гитлер кушай никс», «Русский зольдат — хорош». Бесят эти слова, коробят душу их ужимки, с которыми они изображают перед нами чванливое и самодовольное лицо Гитлера. И эти низкие душонки, продающиеся сейчас за кусок хлеба, еще недавно, сидя с автоматом, один выводил из строя наших бойцов. Вспоминаю, как тогда, в сентябре, под Котлубанью один такой молодчик за ночь положил около подбитого эшелона, только на моих глазах, больше десятка людей, как он целился мне под каску, но счастье мое, что пуля попала в ствол винтовки...

Хорошо помню раннее утро второго февраля сорок третьего. Проснулись и сразу же почувствовали что-то необычное. Глаза только открыли и поняли — что-то случилось. Бывает такое ощущение у человека иногда. И только чуть погодя поняли: не стреляют. Тишина. Непривычная, глухая тишина.

Выскочили все из бункера. Дикая, первозданная тишина. И небо чистое. Не дымит, не коптит. Тоже непривычно. Когда встали в полный рост над землей, увидели впереди: снега нет совсем — все покрыто

красной кирпичной пылью и комьями земли. Весь тракторный завод — сплошное нагромождение чего-то непонятного, бесформенного. А над всем этим — первые лучики солнца из-за тракторного завода, со стороны Волги. Бог ты мой, как хорошо! Разве раньше мы замечали такую прелесть — голубое небо и ослепительно яркое солнце!

Кто-то крикнул:

— Бежим туда!

И каждый понял куда — на тракторный.

И мы побежали. Почему-то никому в голову не пришло — а вдруг какой-нибудь фанатик возьмет и упадет за пулемет. Наверное, это было невероятным. Невероятным нарушить такую тишину.

Когда подбежали к передним траншеям противника (а расстояние было от силы двадцать-тридцать метров), навстречу поднялось несколько немцев в обычном своем сталинградском одеянии — повязанные платками поверх пилоток и фуражек, с одеялами на плечах. Но на что я обратил внимание, с осмысленными взглядами (не как все пленные за последние дни). Один из них был даже без платка, в шапке, видимо, унтер, — он загородил нам дорогу, что-то залопотал. Потом начал жестикулировать, поднял руки кверху и начал состыковывать над своей головой пальцы. Мы поняли только слова: «никс, никс», «офицерен», «камрад», «фарштейн».

Наконец, дошло до нас: там, в верхах, идут переговоры между их офицерами и нашими товарищами, поэтому, пока не договорятся — переходить передний край нельзя... Так, во всяком случае, нам показалось, так мы поняли. Так оно и было на самом деле — велись переговоры. На время переговоров обе стороны прекратили огонь. Но мы не хотели ждать конца переговоров — был у нас какой-то мальчишеский азарт, дерзость победителя, дескать, нам все можно, нам на все наплевать — и на ваших офицеров, и на ваши переговоры.

Мы оттолкнули этих солдат, которые пытались несмело и не очень настойчиво задержать нас, и пошли в глубь их обороны. Пошли не по ходам сообщения, а по верху, перешагивая через закопанные морозом трупы гитлеровцев. Хотелось увидеть что-то необычное — никогда ведь никто из нас днем не ходил по вражеской обороне.

На что мы сразу обратили внимание — здесь совсем не было офицеров. Ни одного. Может, их собрали перед капитуляцией куда-то в другое место, может, они просто бросили своих солдат и каждый устраняется в такую критическую минуту сам, как может.

Через каких-нибудь четверть часа мы поняли, что здесь, на поверхности, ничего интересного для нас нет. Тут смотреть было нечего. Вся жизнь — если можно было назвать жизнью то прозябание на грани смерти, которое влачили окруженные под Сталинградом гитлеровцы — проходит у них там, под землей. И мы спустились под землю, в огромные бетонированные подвалы тракторного завода. Там был человеческий муравейник. Только не деловитый, а какой-то неестественно вялый.

Когда мы вошли, вся жизнь замерла, всякое движение прекратилось — все уставились на нас. Все, кто мог поднять голову из лежачих, все, кто чем-либо был занят, бросал свое занятие и долго, неотрывно смотрел на нас.

И еще, что я четко помню, у нас совершенно не было злости к этим, вчерашним нашим врагам. Но и жалости тоже не было. Было лишь какое-то презрение и... брезгливость — уж больно они были грязные и опаршивевшие. Неужели всего лишь за четыре месяца можно так опуститься!

Мы долго ходили по этим закопченным, замусоренным подвалам. Открывали каждую дверь, заглядывали. В комнатюшках, бывших, видимо, когда-то кладовыми, встретили несколько офицеров. Они вставали при нашем появлении. Но никто из них не спросил нас, почему мы

тут. Вопрос о капитуляции, конечно, давным-давно уже решен для них, дело было только во времени. Большинство из них было пьяными.

Мы выбрались из этих бывших заводских подвалов, полной грудью вдохнули свежего морозного воздуха.

Стрельба больше уже не возобновлялась. Над степью висела тишина, удивительная, все еще не привычная. Перед обедом нашу дивизию отвели на отдых в поселок — для принятия пленных, наверное, не надо было много войск.

15. II. 43 г.

Сегодняшний день объявлен праздником по случаю победы под Сталинградом. Старшины раздают водку. Сегодня впервые со дня наступления попалась газета. Командующий Донским фронтом генерал-полковник Рокоссовский докладывает Ставке Главного Командования «...Донской фронт 2. 2. 43. 18.30. Москва, Верховному Главнокомандующему Вооруженными Силами Союза ССР тов. Сталину.

БОЕВОЕ ДОНЕСЕНИЕ № 0079/001

Выполняя Ваш приказ, войска Донского фронта в 16.00. 2. 2. 43. ЗАКОНЧИЛИ РАЗГРОМ И УНИЧТОЖЕНИЕ СТАЛИНГРАДСКОЙ ГРУППИРОВКИ ПРОТИВНИКА...»

Дальше идет перечисление номеров и названия дивизий и отдельных частей, уничтоженных в этой группировке. Кроме 22-х дивизий, уничтожено 40 отдельных частей усиления.

«...захвачено свыше 91000 пленных, из них более 2500 офицеров, 24 генерала, из которых фельдмаршал — 1, генерал-полковников — 2, остальные генерал-майоры».

Донесение подписали представитель Ставки Верховного Главнокомандования маршал артиллерии Воронов, член ВС Донского Фронта Телегин, командующий фронтом генерал-полковник Рокоссовский, начальник штаба фронта генерал-лейтенант Малинин.

Так бесславно легли 330000 отборных немецких солдат и офицеров.

22. III. 43 г.

Скоро будет уже два месяца, как мы кончили воевать под Сталинградом и стоим в балке Коренной на формировке. Кругом весна и образовались сухие поляны.

На днях — завтра или послезавтра — мы должны отправиться на станцию Котлубань на погрузку. Поедем на формировку. Куда поедем, пока еще не знаем: но для нас хоть куда, только бы из этой балки. Надоела она нам.

25. III. 43 г.

Сейчас нахожусь на ст. Котлубань. Здесь я принял боевое крещение 16 сентября.

Располагаемся недалеко от того места, где 16 сентября я услышал первый взрыв, впервые услышал свист пули и понял, что такое война.

Все осталось почти по-прежнему, только сад, который был на окраине станции, превратился в жалкий пустырь. Водонапорная башня, которая тогда была полуразрушена, сейчас сровнена с землей. Железнодорожная линия построена

почти заново. На том месте, где стоял за станцией (4—5 км) разбитый эшелон, валяются под откосом остатки паровоза (метров 800—1000 от него дальше по линии меня ранило 24 сентября 1942 года).

Так замкнулся круг — с Котлубани началась, на ней и закончилась моя сталинградская эпопея. Пришел сюда мальчишкой с вытаращенными от страха глазами, отсюда уезжаю обстрелянным солдатом с медалью «За отвагу» на груди.

И еще одна деталь, связанная с этим. У меня хранится «Красноармейская книжка». Темно-серая обложка с красной остроконечной звездой посередине. Дата выдачи — 12 марта 1943 года. Стало быть, выдавали ее там, в балке Коренной. Наименование части — 971-й с. п. 273-я стр. дивизия, взвод пешей разведки. Не могу только объяснить, почему она у меня сохранилась — ведь после Курской битвы я попал осенью сорок третьего снова в свою 316-ю дивизию, и там должны были мне или выдать новую взамен этой, или в этой книжке сделать пометку. Пометки не сделано. Но как бы там ни было, эту, сталинградскую книжку, я берегу. Она лежит у меня в письменном столе вместе с военным дневником вот уже сорок с лишним лет. Эти две фронтовые вещи я берегу как самые дорогие семейные реликвии.



Виталий Степанович Шевченко родился в 1922 году на Полтавщине. Участник Великой Отечественной войны, бывший политработник, отдавший службе в Советской Армии около двадцати лет.

После увольнения в запас окончил Бийский пединститут. Автор поэтических сборников «Земное напряжение», «Все неповторимо», «Прикосновение», «Бессонница», повестей «Последний тайфун», «Соленые тропы» и др. Член Союза писателей СССР. Живет в Барнауле.

Виталий ШЕВЧЕНКО

ОСВОБОДИТЕЛЬ

Солдат тогда был ровней бога,
когда —

израненный, в золе,
сметая свастику с дороги,
спасал живущих на Земле.
Ему не раз казался пеклом
окоп, распаханый свинцом,
а он

из крови, праха, пепла
восстал —

где сыном,
где отцом,
где силой духа над планетой...
Ведь рядом, следом

шли друзья
в бессмертье...

в ипостаси этой
быть не спасителем
нельзя.

* * *

Помните, когда меня не станет,
я в свою дивизию ушел.

А. Пысин

А вот и гавань...

Дождик перестал.
За шумным полднем входит тихий вечер,
кладет щемящей ношей мне на плечи
груз памяти —

занозистый металл.
Саднят осколки.

Нынче снова вспомнил
там, на войне, оставшихся друзей...
Сквозь свитки лет,

гром оружейных молний
хочу пробиться к юности своей.

Войти в нее, как в храм осиротелый,
где спят однополчане...

В полный рост
я вижу их — отчаянных и смелых,
идущих под свинцовый перехлест.
Нет-нет, ничто не кинuto на ветер!
О том, что расплескалось, не тужу.
Поверил:

до тех пор живу на свете,
пока суровым братством дорожу.

ДРУЗЬЯМ ШКОЛЬНЫХ ЛЕТ

*Андреевскому Михаилу,
Беляку Николаю,
Гольченко Борису,
Холоше Вениамину,
участникам
Великой Отечественной.*

Листая поблекшие папки,
завьюженных лет не вернешь...

Ну как проживешь без оглядки,
без памяти как проживешь!

Мы веку не ведали края,
и не были боги в чести.

Судьба и своя и чужая
казалась синицей в горсти.

Искали покруче дороги
на склонах житейской гряды...

...В шестнадцать — мы сами как боги:
всесильны, бесстрашны, мудры...

Но юность рвануло, как мину —
аж свист от железной пурги.

Спасали от пуль побратимы,
и метили в сердце враги.

Давило свинцовое бремя
на каждый окопный редут.

Несло нас горячее время,
как кони в погоне несут.

Нескладно жилось и неладно
в завьюженных пеплом краях.
Мы юность свою безоглядно
кидали под пули в боях.
И лишь берегли для расплаты
патронов последнюю горсть,
чтоб над Неизвестным солдатом
бессмертное пламя зажглось.
Чтоб счастье по-свойски,
надолго
вошло бы и в наши сердца.
Под стягом высокого долга
идти нам теперь
до конца...

О ДРУГЕ

Все течет. Подхлестывают время
весны,
тосты,
шрамы на броне...
Каждый вздох и всплеск сердцебиенья —
все с тобой, пока ты на коне.
Ну, а если вдруг подступит круто
тот рубеж, где рвется и броня!
Ну, а если черный недуг скрутит,
сбросит с норовистого коня!
Я тогда
(чтоб тверже стать, отважней)
вспомню друга,
первый вспомню бой.
Заслоня амбразуру вражью,
и меня он заслонил собой...

* * *

Не умея пеленать тревоги,
с торопливым сердцем не в ладу,
растерял я легкие дороги —
трудными дорогами иду.
Позади — крутые перевалы,
спешка от зари и до зари...
Жизнь моя, на первом же привале
радость мне простую подари.
Нагадай удачу на ромашке,
усадив под тень родной стрехи.
Не стегай за старые промашки,
не карай за мелкие грехи,
не кори за то,
что сердце билось
беспокойно даже в тишине,
и за песни те,
что не сложились —
без вести пропали на войне...

* * *

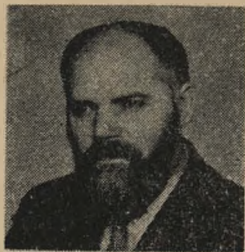
Слава, слава —
солнцу, ветру, кронам,
тайне жизни, трепету любви.
Слава нетускнеющим мадоннам,
от которых —
светлый бунт в крови.
Поглядит —
не надо озаренья,
улыбнется — нет счастливей дня.
Если есть на свете вдохновенье,
то оно —
от женского огня!
И карать он,
и венчать умеет
в грешном варианте ли,
в святом...
Тот, кого огонь волшебный греет,
с боя возвратится
«со щитом».

СУРОВАЯ СЛАВА

Дымилась трава луговая.
Враги — под Уралом седым...
Лихая тачанка Чапая
летит через грозы и дым.
— Вперед! —
и вздувались рубахи
по жесту упрямой руки.

Заломлена круто папаха,
развернуты цепью полки.
Разрывы то слева, то справа,
а пуля — с любой стороны...

Не меркнет суровая слава
героев гражданской войны.
Она — продолжение чуда
и отсвет Октябрьской зари,
тех лет безоглядных,
откуда
победам мы счет повели.
Мужали Олеги и Тани,
Матросовых крепла броня...
Прошли через все испытанья,
полсвета от бед заслоня.
Взрослея,
отважно мальчишки
вступают в когорту бойцов.
...Не только одни обелиски
Остались от павших отцов.



Слипенчук Виктор Трифионович родился в 1941 году в с. Черниговске Приморского края. Окончил Омский сельхозинститут. Работал редактором краевой студии, служил на рыболовных судах матросом, первым помощником капитана супертраулера. Автор книг «Освещенные минуты», «За мысом «Поворотным», «Новый круг» и др. Член Союза писателей СССР.

Виктор СЛИПЕНЧУК

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

РАССКАЗ

Яков Антонович, припадая на левую ногу, ходил взад-вперед возле полуторки, ожидая и страшась поезда. Но он не пришел, точнее прийти — пришел, детей не привез. На душе отлегло. Садясь в машину, он видел посветлевшие лица доярок, но как осуждать их. Он попросил Геннадия Пушкарева остановиться возле колхозного клуба и, пока не скрылся за кирпичной пристройкой, чувствовал на себе молчаливый взгляд баб. В тот день с помощью художника он перенес полный текст телеграммы на белую сторону киноафиши и вывесил на тесовом заборе пошивочной напротив детсада.

«На днях Хабаровским скорым отправляются дети Дмитриевский детдом. Обеспечьте встречу. Отpravку. Усыновлению населением не перечить. Верно. Полковников».

Телеграмма была отправлена из Владивостока накануне праздника, и этим ее некоторая бестолковость оправдывалась. Во всяком случае, для Якова Антоновича Хвоща, одинокого мужика, бывшего бригадира колхоза «Путь социализма», а теперь председателя сельсовета.

«...Не перечить». Он представил сутолоку больших вокзалов, опаздывание поездов, неразбериху... станционный кипяток с привкусом алюминия, пассажиров на крышах и подножках вагонов, настроенных во что бы то ни стало, а первую годовщину Победы отмечать непременно дома, и уже знал — телеграмму отправили загодя в расчете на всеобщее понимание: детям — места в первую очередь. Он глубоко вздохнул. Вполне возможно, не Полковников, а полковник такой-то. Впрочем, если обошлось без путаницы — тогда тем более хорошо, что у отправителя такая звучная военная фамилия. Яков Антонович был уверен, что и на председателя колхоза она как-то повлияет и он не откажет в машине. «Конечно, он и так не откажет — дети... и все же военная фамилия по нынешним временам очень даже неплохо», — думал Яков Антонович, мысленно намечая порядок предстоящих ему работ.

В первый день они выехали на станцию после обеда. Неожиданно сообщили, что из Спасска к ним прибывает какой-то московский, бывший из графика. Яков Антонович, шкандыбая, прибежал на молочно-товарную ферму и на счастье застал Геннадия Пушкарева, приехал с обеденной дойки, въезжал в ворота. Яков Антонович только что и дал снять фляги с молоком, а дояркам приказал сидеть.

Влезши в кузов и перебросив непослушную ногу через лавку поближе к кабине, вынул из нагрудного кармана кителя телеграмму и, прочитав вслух, махнул Геннадью, чтобы погонял.

— Там, девочки, все обсудим... скорым со Спасска сорок минут ходу, как бы не опоздать.

Доярки, минуту назад весело поглядывавшие на своего бывшего бригадира, пригорюнились: это же что, лишний рот в дом?

— Э-хе-хе, — громко, будто за всех вместе вздохнул Яков Антонович. — Усыновлению населением не перечить.

Он подтянул ногу: как тут перечить? Два дня назад приезжал директор детдома, наскребли по сусекам мучки да соевого жмыха, с расчетом до июля, с нового полугодия элеватор обещал пособить, теперь не хватит... Яков Антонович опять глубоко вздохнул, и бабы, чувствуя, что их бывший бригадир совсем уже зажурился, заговорили: о батусе, который довольно-таки поднялся, о редиске, по такому теплу и она к двадцатым числам наберет, о крапивном супе, в общем жить можно.

На станции, оставив полуторку на привокзальной площади у коновязи, покрашенной под шлагбаум, Яков Антонович пошел к дежурному по вокзалу. Дежурил Игнат Вороныко, мужик занозистый и скандальный.

Сейчас Игнат изумлял своей вежливостью, точно дорогого гостя посадил Якова Антоновича на свой стул, сам сел на лавку. Разрешил полуторку подождать прямо к перрону. Объявил, что если понадобится, он задержит поезд.

— Пусть потом телеграфируют, что, мол, Черниговка задержала. А то, понимаешь, стоянка три минуты. Они, эти пассажиры, катят, а того не разумеют, что станция Мучная — это и есть Черниговка, и что она районный центр. А от так, если маленько подзадерживать, то...

Якову Антоновичу никогда не приходилось быть свидетелем Игнатовых рассуждений, и он очень удивился — такому человеку, как Игнат, нельзя давать власти, все его ограничения и послабления всегда будут противозаконны. Однако его разрешением воспользовался, полуторку подождал к перрону, чтобы дети еще с поезда увидели и порадовались машине. Да и стоять... лучше здесь.

Дома, невольно стыдясь душевного облегчения, испытанного на вокзале, Яков Антонович мысленно укорял себя: еще ничего не известно — хорошо это или плохо, что дети не приехали именно сегодня. Возможно, завтра он не привезет и доярок.

Так оно и вышло, они стояли на дощатом перроне вместе с директором детдома Дмитрием Ивановичем Коломбиным, а чуть внизу, за нестройным рядом торговок, тоже ожидающих поезда, стояла пустая полуторка с приткнутым к борту довоенным велосипедом. До обеденной дойки было часа два, полдень еще только вступал в силу. В молодой сочной зелени как-то тягуче гудели крылатые музыканты, муравьино-подобные насекомые. В их паутистом нитье день изнывал, томился. Иногда со стороны речки упругими порывами налетал ветер и словно бы смывал паутину. Рукавастый пиджак Дмитрия Ивановича вскидывался, округлые очки взблескивали, он походил на длинноногую умную птицу. Сходство с птицей придавали очки и острый длинный нос.казалось, что именно носом Дмитрий Иванович все что-то высматривает и высматривает.

Но и на этот раз детей не привезли. Помогая затаскивать велосипед в кузов, Яков Антонович сказал директору, чтобы завтра он не приезжал: мыслимое ли дело, на велосипеде по такой дороге?... Пусть лучше подготовятся к встрече, завтра День Победы, может, какую самодеятельность организуют, в некотором роде праздничный стол. А здесь на вокзале они с Геннадием Пушкаревым сами справятся. Якову Антоновичу не хотелось, чтобы Дмитрий Иванович приезжал еще и потому, что надеялся, завтра детей привезут. И хотя дети — есть дети, человеки, а все же люди постараются разобрать большеньких, красивеньких. Те, кто останутся... Надо чтобы им обрадовались в детдоме и в первую голову директор, Дмитрий Иванович, тут его чувства нужно побережь, не расплескать.

— Ежели что... десятого приезжайте. Да и то... загодя позвоните,— посоветовал Яков Антонович.

За ночь несколько раз просыпался из-за тяжелого натужного гудения бомбардировщиков — учебные полеты. Выходил на улицу, смотрел на сияющую взлетную полосу аэродрома, потом на черное усыпанное звездами небо — Млечный путь, чуть накренившись, лежал, точно озеро в озере. Шорох листьев, сладковатый запах яблонь, холодная колодезная вода, отдающая свежим срубом, вдруг отзывались в душе мучительной тоской по прошлой неудавшейся жизни. Яков Антонович уходил в избу, ложился на широкую твердую, как полати, кровать и засыпал. И опять над ним словно бы зависал рокот самолетов, который, как это бывает только во сне, начинал медленно переливаться в рокот тракторов. Какое-то время Якову Антоновичу слышится стрекот сенокосилки, и он все дальше и дальше уходит с литовкой к реке, высматривает Полю. Вон бежит с кастрюлькой: Яша! Они садятся возле шалаша. Легко, вольно вокруг, повядшая за день трава пахнет, томит, а в небесных прогалах голубизна, кажется, это их с Полей души, разливаясь, сливаются.

— Коля! Где наш Коля? — спрашивает он, и Полина вдруг отступает, отстывает. И уже в военном городке. Груды развалин, пожарище. Перебитые деревья валяются, кора висит, как рваная одежда, и близина из-под нее, страшно взглянуть, человеческая. Яков Антонович увидел ограду, оторванный пролет запутался в телеграфных проводах, сердце прыгнуло, задохнулось, словно кто-то свинцовым саногом наступил на грудь. Розовенький носочек, зацепившийся за штaketину, трепыхался на ветру, кричал, плакал: пап-ка-а! Яков Антонович вскидывался, просыпался, опять выходил на улицу.

К рассвету полеты закончились.

Опершись о забор, Яков Антонович смотрел в расширившееся пространство неба, и так же необъяснимо, как ночью, все навевало тоску, так сейчас — предчувствие какого-то счастливого исхода. Это новое чувство его немного пугало — чего ему ждать? Но потом пришла бабка Кланы, присматривающая за его нехитрым хозяйством, выставила к завтраку стакан наливки. Он искренне удивился: с чего бы? И тут же вспомнил: праздник, День Победы. Чувство окрепло, и час от часу в нем нарастала уверенность: сегодня произойдет что-то такое, что круто изменит его жизнь. И хотя он старался не думать об этом, приехав на вокзал, несколько не удивился, что встречающих поезд баб — не в пример вчерашнему — много и почти все они записались у него, как желающие взять ребенка на усыновление. Тут же на траве возле станционной водокачки, похожей на силосную башню, побирушки разложили на тряпичках хлеб, лук, сало. «Верно, бутылку «вермута» тоже припасли», — ни к чему подумал Яков Антонович и едва не налетел на Реньку Воронько, брата начальника вокзала, безногого мужика, черного и кудлатого, присосшего к деревянной тележке, похожей на самокат, которую он размашисто кидал вперед так, словно она была частью туловища.

— Что, Яков, назвал народу? — густым сиплым голосом, пугающим детей и собак, радостно спросил Ренька и, ловко вильнув, покатил к водокачке, держа в подоле обрубков блеснувшую на солнце бутылку красной.

В другой раз такая встреча со всей этой Ренькиной компанией вряд ли обрадовала бы Якова Антоновича, а сейчас и она по-своему помогла хорошему чувству. «Все — люди, все — человеки». Глядя, как со стороны крупозавода и элеватора подходят еще люди, подтянулся, одернул китель, стряхнул пыль с галифе: за свежее обмундирование бабуле надо спасибо сказать, надоумила. Услышав разлихватые перебивы гармошки, улыбнулся: сообразуется праздник, самый настоящий сообразуется. Пошел к машине, с достоинством подняв голову, стараясь

как можно меньше припадать на левую ногу — все же он здесь какая ни есть, а власть. Однако ощущение себя, как власти, улетучилось тут же, как только начальник вокзала объявил, что скорый со Спасска выехал — детдом в четвертом вагоне. Раз за разом, доставая блокнот, чтобы убедиться, что список родителей, пожелавших усыновить ребенка, при нем, и прежде всего натыкаясь на свою фамилию, Яков Антонович не только не помнил, что ему надлежит сохранять подтянутость, но не помнил себя самого. Так что когда поезд остановился и все, хлынув к четвертому вагону, вдруг почувствовали необходимость присутствия власти, потребовалось некоторое время, чтобы вызволить Якова Антоновича из задних рядов в круг, в котором два начальствующих проводника, размахивая свернутыми сигнальными флажками, оттесняли встречающих от вагона. Собственно, это они потребовали присутствия власти.

— Где власть?! Где? — нетерпеливо справился один из них. И толпа, словно она представляла собою одно единственное лицо, молча оглядела себя и исторгла Якова Антоновича. Теперь он был — как бы все они. И все же он оставался Яковом Антоновичем Хвощем, жителем Черниговки, одиноким мужиком, потерявшим на войне жену и сына и решившим сегодня, сейчас, усыновить ребенка.

Он увидел спускающуюся по ступенькам молоденькую женщину в коричневом жакете и черной шляпке; вуаль, украшенная звездочками, закрывая лицо, придавала ей нелепую для этого случая маскарадную загадочность. Ступив на перрон, она легким кивком откинула вуаль и придержала рукой. В глаза бросились высокие набивные плечи жакета, приподнятые, словно под ними таились сложенные на спине крылья.

— Товарищи, кто здесь из Дмитриевского детдома? — услышал он звонкий взволнованный голос, но не сразу сообразил, что голос принадлежит молоденькой женщине, потому что люди вокруг тоже заволновались, отхлынули от вагона: он увидел свалившегося с самоката Реньку Воронько, бьющегося падучкой. «Ах ты, горе какое!» Неизвестно, как бы обернулось все, не будь городская учительница, как мысленно окрестил ее Яков Антонович, такой крепенькой, такой славенькой, такой находчивой.

Хотя щечки порозовели, она не растерялась, обратилась к народу громко, твердо. Особенно хорошо, что громко, ведь важно каждому все услышать и переварить самому. Она, конечно, торопилась, начала со второстепенного: прижимая к груди ридикюль, достала бумаги, зачем-то стала перечислять одежду и обувь, которые передаются Дмитриевскому детдому наряду с тремя ящиками игрушек, а также постельным бельем и одеялами, в количестве сорока комплектов. И то сказать, страшновато смотреть на Реньку — живой обрубок, а уж в припадке и вовсе страх.

Пока Яков Антонович, слюнявя химический карандаш, расписывался в соответствующих бумагах в получении, Геннадий Пушкарев, не поддаваясь общей растерянности, вместе с проводниками выносил на перрон ящики, сундуки. Последний, с постельным бельем (сундук из красного дерева, тяжелый и громоздкий, со старинными вензелями на бронзовых пластинах), пришлось тащить с остановками, мешала девочка лет двенадцати по имени Оля, вцепившаяся в торцовую ручку рядом с Геннадием. Худая, в застиранном платье желто-серого цвета, наголо остриженная и босая, она вызывала чувство досады и жалости. На все просьбы отстать, отцепиться, насупливалась, глаза выпуклые и светлые обесмысливались, она точно каменела, еще крепче сжимая ручку. Когда же сундук начинали тащить, она словно просыпалась, всеми силами помогала, видно было, как от напряжения выпирают лопатки. «Погодь, погодь, надсадишься», — останавливал Геннадий, но в работе она преображалась. Становилась ловкой, смекалистой и еще не-

множко суетливой, впрочем, как и все женщины, вынужденное отсутствие физической силы возмещать рвением. Опережая всех, она мелькала то здесь, то там и теперь была как бы главной хозяйкой поезда. Перед тем, как стаскивать сундук по ступенькам, прикинули: как оно, чтоб лучше?.. Олька засветилась, выскочила на подножку, ждет, сообразила, что принимать сундук сил понадобится поболее. Ее усердие не осталось незамеченным, бабы ласково и сочувственно наблюдали: каку-таку помощь она окажет мужикам? Не дотягиваясь до сундука, Олька прыгнула на перрон, схватилась сбоку и все же пособила. «Смотри ты, помощница», — расчетливо громко заудивлялись бабы, и мужики, ухмыляясь, по-новому взглядывали на Ольку. Чувствуя на себе эти взгляды, она еще больше старалась. Яков Антонович тоже заметил ее легкую порхающую фигурку, но его отвлек Игнат Воронько. Приказав мужикам перенести в вокзал приведенного в чувство Реньку, он подскочил к Якову Антоновичу с намерением задержать поезд. Городская учительница, пряча в ридикюль подписанные бумаги, опередила:

— Зачем задерживать? Документы подписаны, имущество вот, — она указала на сундуки и ящики, стоящие на перроне. — А детей... Олька! — позвала она, но так как никто не отозвался, решительно пошла к сундуку, возле которого, точно окаменев, застыла босая, остриженная наголо девочка в желто-сером застиранном ситцевом платье. Минуту назад смекалистая и проворная, она, тупо уставившись, смотрела на бронзовый окроек сундука, казалось, что это не Олька, а совсем другая девочка. Стуча крепкими массивными каблуками, молоденькая женщина уверенно подошла к ней.

— Ну что ты, как каменная?

Она несколько резковато взяла Ольку за руку, но та, неожиданно отпрянув, вырвалась, схватилась за сундук. Молоденькая женщина растерялась, лицо залилось румянцем, порозовели даже руки. Внезапно испугавшись, что сейчас заплачет, побледнела.

— Товарищи, — голос дрогнул. — С Днем Победы вас!..

Заранее заготовленная фраза, которую городская учительница хотела произнести с пафосом, оборвалась. Она почувствовала в груди горячее покалывание и еще обиду на молчаливое отчуждение баб, они словно отодвинулись от нее. Пересиливая приступ, городская учительница вдруг стала жаловаться быстро, сбивчиво, что хочешь, как лучше, а получается... Она не должна была ехать с детдомом, она ехала во Владивосток сама по себе, а ее попросили, а сегодня на вокзалах тьма народа, в Имане и Спаске детей разобрали, а вещи и Олька остались, потому что Олька спряталась... Конечно, она жаловалась, не надеясь на сочувствие, ей было обидно, но странное дело, бабы теперь как будто придвинулись к ней.

Неожиданный гудок паровоза, резкий и свистящий, заглушил ее, поезд тронулся. Молоденькая женщина бросилась к вагону, на ходу прося всех, чтобы Ольку доставили в детдом вместе с документами и имуществом. Напоследок, с площадки тамбура, крикнула: «Оленька!» Помахала крепдешиновым платочком, который прижимала к губам, удерживая кашель, и уехала. Ничего не осталось от нее, разве что только крик, ударивший Якова Антоновича в самое сердце: «Оленька!»

Ответно взмахнув рукой, Олька вытянулась, удерживая взглядом крепдешиновый платочек, а потом опять сникла, вцепилась в сундук, будто в нем было все ее спасение. А ведь так и есть, — подумал Яков Антонович, невольно представив на Олькином месте себя. — Должно быть, это ужасно, когда разбирают твоих товарищей, а ты почему-то знаешь, что тебя не выберут, не возьмут, и вынужден загодя прятаться от обид в этом огромном спасительном сундуке.

— Отойдите, девчата, расступитесь маленько, — попросил он и, подойдя к Ольке, положил на плечико свою большую ладонь. — Хочу показать ей наши сопки.

Бабы, как стояли, не шелохнувшись, так и продолжали стоять. Им говорили об усыновлении и вдруг — девочка, к тому же одна, это казалось невероятным. Сейчас они очнутся, — ждал Яков Антонович, мысленно радуясь, что ход события сам собою попал в его руки и надо только не выпустить.

— Что тебе, Яков?

Теснясь, бабы расступились, обнаружив в конце рваного коридора бельмастого Сашку Безверова со своей двухрядкой на коленях. Он сидел на траве, по-татарски поджав босые ноги, лицом прямо на солнце, но это оттого, что люди теперь его не загораживали.

— Наш Сашка-музыкант, — сказал Яков Антонович и, чувствуя, как Олькино тельце напряглось, успокоил: — Да ты не бойся его, он наполовину зрячий, а голову закидывает для острастки, попрошайничает.

Криво усмехаясь, Сашка сплюнул; но бабы одернули: октись, тебя спротине показывают.

— А я что, а я ничего, — суетливо дернулся Сашка и тоже повернулся вслед общему взгляду, подставив солнцу занятанстую, точно коровий залез, плешь.

— Видишь, за крышами, синие?

Осторожно подняв голову, Ольга вскрикнула:

— Ой, близко!

Бабы согласно закивали: дескать, так, так... А Яков Антонович возразил: близко, но не совсем, вот ежели бы от его хаты, тогда другое дело. Ольга не успела и глазом моргнуть, как он подхватил ее и поставил на сундук.

— Маленько вбок смотри, видишь деревья — колхозный сад. А вправо — аэродром. А с этой стороны сада, что к нам — мазанка, белый дом под цинковой крышей — он и есть.

Чувствуя, к чему клонит председатель, бабы разделались: одни приняли сторону Якова Антоновича, другие зароптали — разве так привечают? Пирожочек бы ей, конфетку, приголубил бы, а он водрузил на сундук — смотри. Что она там увидит? Мужик, он и есть мужик, мать ей пужна. Яков Антонович и сам понимал: может, не так оно надо, да уж как умеет. Ежели Ольга выберет его — кой в чем, конечно, бабка Кланы пособит, а так сам будет и за отца, и за мать.

— Геннадий, там в машине узелок на сиденье, принеси, — попросил Яков Антонович, отирая рукавом пот. — Ну что, Ольга, нашла?

— Яков, ты ровно маленький, — осудили бабы, но он и сам знал, что увидеть дом невозможно, ему этот разговор с Олькой пужен был сам по себе, как разговор. Но она вдруг привстала на цыпочки.

— А труба какая, кирпичная?

— Кирпичная, — подтвердил Яков Антонович.

— А крыша покатаая?

— Покатаая.

— Тогда вижу, во-он, возле сада, — сказала Ольга.

Яков Антонович, не скрывая горделивого превосходства, так взглянул в сторону роптавших, что они невольно притихли.

— Правильно, возле, — радостно согласился он и так же быстро и легко, как поставил ее на сундук, сейчас снял.

Яков Антонович был уверен: Ольга не видела дом. И в то же время не сомневался — видела.

— А знаешь, Ольга, я тоже один, как и ты, совсем один.

Он вдруг заволновался и замолчал, подыскивая и не находя нужных слов.

Воротился Геннадий Пушкарев с гостинцами бабки Кланы. Уловив Олькин осторожный взгляд, с каким она следила за узелком, бабы всполошились, вспомнили о своих припасах. Яков Антонович хотел опередить их, но как на грех не мог сыскать концов марлевой завязки.

«Эх, бабуля-бабуля», — горестно подумал он, кладя узелок на сундук и стараясь успокоиться тем, что мужик, он и есть мужик. Бабы вытаскивали пирожки, шанежки, сахаристый хворост, домашнее печенье, мед и все это протягивали Ольке: возьми, дитяtko, испробуй. Испугавшись обилия еды, она отступила вплотную к Якову Антоновичу, который уже ни на что не надеясь, рассеянно отирал с лица пот, и вдруг со свойственной ей взрывной энергией схватила узелок и, помогая зубами, в два счета ослабила завязку, осталось только потянуть ее, чтобы развязать. Польщенный Олькиной помощью, Яков Антонович осадил баб:

— Да погодите вы... у нас все есть.

Он развернул марлю, и глазом предстали действительно те же шанежки, то же домашнее печенье и тот же мед, цветом похожий на коровье масло.

— Мед! — изумленно вскрикнула Ольга и тут же посерьезнела.

— Бери-бери, — потребовал Яков Антонович, — это тебе за твою работящность. Я тебя сразу заприметил, думаю: кто эта помощница, что всюду поспевает? Мне бы такую, а то...

Он внезапно осекся, помолчал. И вдруг ни с того ни с сего рассердился:

— Я ведь что вам, бабы, скажу, вы не смотрите... ежели Ольга пристанет до меня — заместо отца и матери буду, в том мое верное слово. А уж там — решайте.

Он махнул рукой не то чтобы пренебрежительно, но довольно-таки грубо. Однако в ответ, будто от нечаянной ласки, сердца баб помягчели: да мы-то что, Яков?.. Одно слово — народ, это она сама пускай решает.

Очень по душе пришлось Ольке, что Яков Антонович сразу ее заприметил. Так по душе, что она едва не засмеялась вслух. По правде говоря, она рассчитывала, что ее заприметят. Потому-то и чуть не засмеялась, что не ошиблась. Поэтому же, когда Яков Антонович потребовал, чтобы она брала, что пожелает, взяла не мед, она не маленькая, а шанежку. Сердитость, с какою Яков Антонович вдруг ни с того ни с сего набросился на баб, ее не удивила, Ольга сама не знает отчего, но тоже осерчала на них. Так что пока они рядились, она, недолго думая, ловко собрала гостинцы в марлевый узелок, потянула Якова Антоновича за рукав — идем. Он растерялся, суетясь, шкандыбнул к ней, хотел в избытке чувств погладить ее мальчишескую головку, а Ольга подумала, что это от неуклюжести, поднырнула и проскочила под рукой. Потом сглянулась, подбежала к сундуку и опустила торцовую ручку, за которую держалась, мягко так придавила вниз и вернулась.

— Ты уж, Геннадий, сам смотри, погрузите имущество и в детдом. А сундук этот опорожнишь и назад привози, Ольга возьмет его, ейный он, — твердо сказал Яков Антонович и посмотрел на сундук пристально, со значением, словно надеялся: что и сундук как-то оценит сказанное и запомнит. — Коломбину передашь: я им другой закажу, пусть размеры даст.

Неожиданно для Якова Антоновича Ольга прильнула к нему головой, и они пошли. Людской коридор расступился, Сашка-музыкант по привычке вскинул к небу бельмастое лицо, рванул меха, сыпанул «Яблочко». Военная фуражка его с красным околышем опрокинуто-просительно лежала здесь же, на траве. Яков Антонович остановился, зашарил по своим карманам, на что Сашка вдруг яростно замотал головой:

— Иди-иди, ничо не надо, — и так как Яков Антонович продолжал рыться в своих широких галифе, заматерился, прервал музыку. — Я же сказал: ничо не надо, я так играю, для праздника.

Пройдя несколько шагов, Яков Антонович оглянулся, как всегда, повернувшись всем туловищем, вместе с ним оглянулась и Ольга. Якова Антоновича заинтересовало: почему Сашка не играет? Однако, на-

толкнувшись на живую людскую стену молчаливого взгляда, позабыл о нем, подобрался, постоял, чувствуя неизъяснимо окрепшую веру в себя, глянул сверху вниз на Ольку.

— Ужо я им...

Почему он так сказал, бог весть?.. В ответ она сдвинула брови и тоже пролепетала:

— Ужо...

И пряча головку за его рукой, тихо, почти беззвучно засмеялась. Он улыбнулся, и они пошли. Странное дело, но этот ее почти беззвучный смех услышан был и народом. Сашка рванул меха, бабы зашевелились, вздыхая и поднося к глазам концы крестьянских выгоревших платков, а мужики, словно все им нипочем, стали выкрикивать всякие веселые ругательства, очень похожие на угрозы, в которых бабы улавливали одну только беззащитность да ранимость. И потому молчаливо заходились, заходились в ответ под юркое Сашкино «Яблочко».

Яков Антонович и Олька пересекли вокзальную площадь, вошли в улицу. Они шли от одного двора к другому, и всякий раз, когда кто-нибудь вырастал из-за плетня, Яков Антонович останавливался, общал:

— Домой идем, с Олькой, помощницей.

Евгений ЧУПРОВ

Чупров Евгений Максимович родился в 1924 году в с. Екатеринославском Хабаровского края. Участник Великой Отечественной войны. Разведчик. После войны на партийной работе в Целинном районе Алтайского края, затем инженер-электрик в Барнаульэнерго.

ФРОНТОВЫЕ БЫЛИ

АННУШКА

Шел третий год войны. Наша 215-я Смоленская стрелковая дивизия вела ожесточенные бои с немцами на Орша-Витебском направлении. Нам, фронтовым разведчикам, в эти холодные январские дни 1944 года давали мало времени на отдых и требовали от нас все новых данных о противнике.

Как-то ночью, после нашего очередного возвращения из немецкого тыла, было неожиданно объявлено о том, что нам отпускается трое суток отдыха в тылу наших войск. На рассвете «студебеккер» увозил нас на восток. Дорога вилась среди заснеженных полей, иногда она проходила по улицам безлюдных сел, в которых более отчетливо были заметны следы войны: дома в них стояли с разрушенными стенами и сгоревшими крышами, деревья были обуглены, от копоти и сажи почернел снег.

Солнце было уже высоко, когда мы въехали в густой смешанный лес. Здесь когда-то проходила немецкая линия обороны. Мы остановились возле блиндажа, из трубы которого сизой струйкой поднимался дым. Наша временная обитель представляла сооружение, которые строились на передней линии фронта, чтобы защитить людей от снарядов, мин, дождя и холода.

Открыв дверь блиндажа, мы оказались в прямоугольной комнате. Вдоль стен тянулись двухъярусные нары. Посредине комнаты стоял длинный деревянный стол с двумя, такой же длины, скамейками по бокам. На низком потолке висел электрический шнур с промасленной оболочкой. Его конец горел мерцающим красным светом, освещая комнату. На полу топилась чугунная печь. Возле печи сидел наш старшина и курил немецкую сигарету. Он раньше нас прибыл сюда, приготовил нам обед и теперь ждал, когда мы будем готовы сесть к столу. После обеда я лег спать и вскоре проснулся от стука алюминиевой кружки, свалившейся со второго яруса нар. Спать уже не хотелось. Я вышел наружу, прошел несколько шагов и остановился. Вокруг меня высились величественные сосны. По их вершинам пробежал легкий ветерок, и они беззвучно заколыхались зелеными волнами. Солнце медленно скрывалось на западе. Горизонт, сначала горевший червонным золотом, постепенно менял окраску и приобрел оттенок красно-желтого цвета, потом сделался темно-синим.

Синицы порхали с одного дерева на другое, беззаботные и легкомысленные, ибо вокруг царил тишина и спокойствие. Наблюдая за

ними, я вдруг услышал отдаленный человеческий голос. Он исходил из глубины леса, куда я тотчас же отправился. Вскоре сквозь просветы между деревьями стала видна обширная поляна, заполненная автомашинами и людьми в белых армейских полушубках, серых шинелях и ватных телогрейках. В центре скопления людей стояла грузовая автомашина с опущенными бортами. На ее площадке рассаживались на стульях музыканты. Их было пятеро. Один держал скрипку, другой балалайку, третий виолончель, двое гитары. Я подошел ближе и остановился возле танкиста с сержантскими погонами.

— Откуда они?

— Московская эстрада, — коротко ответил сержант.

Вот заиграл оркестр и в воздухе поплыли мотивы русской классической музыки. Оркестр сменило женское трио; под аккомпанемент двух баянов певцы исполнили несколько веселых частушек. Концерт заканчивался задорными цыганскими плясками. Я обвел взглядом присутствующих на концерте людей и заметил одиноко стоящую девушку. Она была одета в большой, не по размеру, полушубок, валенки и шапку-ушанку. Ее малый рост и еще совсем детское лицо удивили меня. И я, не выдержав, подошел к ней. Девушка обернулась и посмотрела на меня. Взгляд ее показался мне усталым и грустным. Понравилось и ее круглое миловидное лицо и длинные волнистые волосы, которые непокорными прядями выбивались из-под шапки.

После концерта я вызвался проводить девушку. Она в ответ улыбнулась. Узкая тропинка, протоптанная людьми, вывела нас на опушку леса. В безмятежной тишине то и дело слышались отдаленные раскаты орудийных выстрелов. А я шел рядом с милой и грустной девушкой, мне было хорошо, и я хотел, чтобы ей тоже было хорошо. Война ведь не лишает человека чувств, она их еще больше обостряет. Я попросил девушку рассказать о себе.

— Зовут Анной Прохоровой. Семнадцать лет. Родилась в Калужской области. Закончила трехмесячные курсы медсестер и добровольно пошла на фронт, — словно зачитывая анкету, ответила она.

И я ей рассказал свою столь же незамысловатую и короткую автобиографию.

И теперь уже нам казалось, что мы знаем друг друга давным-давно. Шли. Разговаривали. Смеялись. И даже пели тихонько. Голос у Анны оказался красивый, задушевный.

Вдруг она ойкнула и присела, обхватив колени руками.

— Что с тобой? — испугался я.

— Кажется, вывихнула ногу, — проговорила она, скривив в болезненной гримасе губы.

И я, не задумываясь, поднял ее на руки и понес. Анна обхватила руками мою шею и ласково попросила:

— Не зови меня Анной, зови Аннушкой.

Падал мягкий снежок. Крупные хлопья плыли в воздухе. Скоро снег перестал идти, и в небе появились первые звезды. Щека Анны касалась моей щеки, и я шел осторожно, словно боясь спугнуть это прикосновение. А идти было нелегко по снегу, да и ноша не такая уж легкая. Но я шел и шел, изредка спрашивая:

— Сильно болит?

— Ничего, потерплю, — морщилась она. — Устал?

— Ничего, — бодрился я. — Ты же легонькая...

А рубашка моя плотно прилипла к мокрой спине, ноги подкашивались и руки стали деревенеть. Но я старался не уронить своего достоинства и упорно шел вперед. Наконец, подошли к блиндажу. И тут, к моему удивлению, Анна легко соскользнула с моих рук и твердой поступью прошла несколько шагов. Потом повернулась, в ее глазах блеснул лукавый огонек.

— Спасибо, — сказала она и весело рассмеялась. Потом приняла

серьезный вид и с грустью добавила: — Не обижайся за эту шутку. Ты мне нравишься. Я напишу тебе. Обещай, что ответишь?

— Обещаю, — машинально кивнул я.

Анна помахала мне рукой и скрылась в одной из землянок. А я, стояв еще несколько минут, вернулся обратно.

На другой день я попытался разыскать Анну: побывал во всех тех землянках, которые располагались на знакомой уже мне опушке леса, но там никого не было. И не у кого было спросить — куда они ушли. Скорее всего — на фронт. Вскоре и мы вернулись на передовую. А оттуда ушли в немецкий тыл. Нам удалось проникнуть в глубь вражеской обороны, засечь огневые точки и скопления боевой техники. Выполнив задания, тронулись в обратный путь. Стало темнеть. Неожиданно совсем рядом послышалась неразборчивая речь. Мне было приказано прикрыть отход наших разведчиков, и я, взяв у них два запасных автоматных диска, залег.

В это время из-под туч вынырнула луна и предательски осветила меня: тотчас же со стороны немецких траншей глухо застучал крупнокалиберный пулемет. Его трассирующие пули огненными точками, взрыхляя снег, ударили по пригорку. Я ответил огнем автомата. Потом, делая короткие перебежки, устремился к воронке, образовавшейся от разрыва снаряда или мины, и вдруг почувствовал боль в левой ноге. Пуля попала в бедро. Наконец, я скатился в воронку и, пристроив автомат на бруствер, снова ответил огнем. Вдруг над головой со свистящим воем пролетела мина и с грохотом разорвалась в нескольких шагах от меня. Чем-то тяжелым ударило меня, и я потерял сознание.

Пришел в себя от прикосновения чьих-то рук. В голове шумело. С трудом открыв глаза, увидел... Анну. И в первый миг не поверил, думал, что мерещится. Но вот она заговорила, и я понял, что передо мной Анна.

— Ну вот, — сказала она, — теперь обработаю и перевяжу рану, но ты потерпи. Это не очень больно.

Вокруг нас трещали пулеметно-автоматные очереди, то приближаясь, то отдаляясь. Потом стрельба прекратилась. И совсем рядом слышались голоса.

— Немцы, — сказала Анна.

— Уходи! — крикнул я. — Сейчас же уходи, я их задержу...

Но Анна схватила мой автомат и начала стрелять в немцев. А я, собрав все свои силы, одну за другой бросил две гранаты. Раздался сильный взрыв. Немцы отпрянули, оставляя на снегу трупы своих солдат. Анна продолжала стрелять. И тут, на наше счастье, тучи снова закрыли луну. Стало темно. И немцы не решились больше возобновлять атак. Со стороны их траншей изредка взлетали в небо осветительные ракеты, да изредка слышались предупредительно-короткие пулеметные очереди. Анна разыскала мои лыжи, связала, я лег на них, и она повезла меня в сторону наших оборонительных сооружений. Она шла по глубокому снегу, то и дело оступаясь и проваливаясь, но продолжала идти. Я попросил ее остановиться и отдохнуть, но она не ответила и продолжала идти. Я вспомнил нашу первую с ней встречу и тихо, почти шепотом сказал:

— А помнишь, как я тебя нес на руках?..

Она опять промолчала, не ответила, может, не расслышав моего голоса. И продолжала идти. И вскоре от этого монотонного движения я то ли задремал, то ли потерял сознание... Очнулся уже в госпитале.

Потом, после излечения, направили меня в другую часть. И Аннушку Прохорову больше я никогда не видел. Что с ней, где она? Прошло больше сорока лет...

МЕТЕЛЬНОЙ НОЧЬЮ

Это случилось в одну из снежных ночей в Белоруссии. Возвращаясь из немецкого тыла, мы, разведчики, благополучно миновали линию фронта. Неожиданно нам навстречу из снежной мглы вышли двое. Впереди — молоденький немецкий солдат в шинели и эрзац-валенках. Ему было на вид не больше пятнадцати-шестнадцати лет. Таких в то время в гитлеровской армии встречалось все больше и больше.

Надвинув на уши пилотку, юнец посмотрел на нас и оглянулся на своего конвоира — русского солдата в полушубке, с автоматом за спиной.

— Куда ведешь младенца? — спросил конвоира наш командир.

— Приказано доставить в штаб 318-й гвардейской, — браво отпортовал солдат. И, чуть помедлив, добавил: — Вот только малость потерял дорогу из-за такой погоды.

— Эта малость может стоить тебе жизни, — сказал командир и приказал мне: — Помогите им, Чупров.

Ориентируясь по компасу, я повел пленного и его конвоира туда, где, по моим расчетам, должен был находиться штаб дивизии. Метель не прекращалась. Ветер с воем налетал на деревья и со скрипом качал их верхушки. Миновав лес, мы снова оказались в поле и остановились. Вглядываясь в темноту, я прислушался. По-прежнему выл ветер. Где-то далеко строчил пулемет. Раза два бухнули взрывы мин. Мы поняли, что кружимся на одном месте, и сели отдохнуть. От холода немец дрожал, как в лихорадке, согревая дыханием окоченевшие руки и притопывая на месте в своей неуклюжей обуви. Видя все это, конвоир отдал ему свои меховые рукавицы, а себе достал из вещмешка шерстяные варежки, какими нас снабжали в то время сестры и матери в своих посылках на фронт.

А когда мы с конвоиром решили подкрепиться, отрезали кусок хлеба и пленному. Потом снова долго бродили по лесу. Холод все усиливался. У немца от мороза побелели щеки, и нам пришлось долго оттирать их снегом. Затем он стал жаловаться, показывая на правую ногу. И на этот раз мы помогли ему: долго и терпеливо растирали ему закоченевшую ногу. Наконец, вышли на дорогу и долго шли по ней. И все это время старались чем-то помочь нашему спутнику. Только на рассвете нам удалось добраться до расположения штаба. Тут моя миссия закончилась.

Спустя несколько дней разведку дивизии отвели на отдых в село, которое находилось в тридцати километрах от линии фронта. Мы ехали по дороге, ведущей в Витебск. По той же дороге тянулись длинной вереницей немецкие военнопленные. И я подумал тогда о том, что для них война уже закончилась, но не закончился еще путь к осознанию совершенного ими на нашей (да и не только на нашей) земле, путь к самим себе.

Вдруг услышал:

— Камрад, камрад!

Я поискал глазами и увидел в колонне пленных моего знакомого, того самого молоденького немца, которого вместе с конвоиром вывел я из леса. Он дружески махал мне рукой и улыбался.



Александр Николаевич Невский родился в 1924 году в с. Хабары Алтайского края. Участник Великой Отечественной войны. Был связистом на Калининском, Центральном и 1-м Белорусском фронтах. Работал председателем Славгородского райисполкома, а затем первым секретарем райкома партии. В настоящее время — секретарь Алтайского крайкома КПСС.

Александр НЕВСКИЙ

Счет Алексея Кочегарова

Старый волк терпеливо следил из засады за притихшим селом. Он знал: люди ему не простят за все, что он натворил за свою долгую разбойничью жизнь. Но и удержать себя от соблазна был не в силах. Было время, когда он, рыская по полям и перелескам, мог за одну ночь исколесить всю округу и не почувствовать усталости. Теперь и силы не те, и охотники, зная повадки его, все чаще настигали его — и только хитрость старого волка помогала ему уходить.

Особенно упорно выслеживал старого волка один охотник, широкоплечий, кряжистый; он знал отпечатки его лап и не раз опутывал его следы флажками ярких тряпичных огоньков, делал засады, но волк не допускал его на близкое расстояние. Кряжистый метко стреляет. Стоило волчице пренебречь этим, как пуля сразила ее. Старому волку все труднее и труднее становилось уходить...

И в мае 1941 года охотник выследил-таки и убил старого зверя.

В книжку охотника-промысловика Алексея Кочегарова был внесен 136-й волк.

А вскоре началась война — и охотник Алексей Кочегаров стал снайпером.

* * *

Ставка Гитлера носила название то «Волчья яма», то «Ущелье волка».

22 июня 1941 года фашистский Волк совершил набег на мирные города и села нашей страны. Миллионы советских людей встали на защиту своей Родины.

* * *

Земля в трауре. Земля в огне. Земля в цвету. Завершается первый год войны. Весна 1942 года. Из-под пробитой каски, из-под ржавого лафета взорванной пушки, из-под сгоревшего танка пробиваются нежные ростки жизни — весенние цветы. Печальные березки распушили свои длинные косы. Голубоглазые незабудки выглядывают из разнотравья, и черемуха — как невеста в свадебной фате.

Если в жаркий день пробежать по зеленому лужку на песчаный берег Ладожского озера, то с него можно броситься в голубую прохладу светлого омута. Если бы... Если бы не было воронок от бомб и снарядов, если бы земля не была начинена толм и опутана колючей проволокой, если бы там, за мелким березняком и болотистой низиной, не проходила передовая линия фронта.

Снайпер Алексей Федорович Кочегаров с раннего рассвета лежал в засаде. Был уже полдень. Пригревало солнце. В кустах щебетала какая-то птица. За каналом, изрытым взрывами снарядов, виднелась со-

жженная рыбацкая деревня Липки. Там немцы. Тихо. Враг закопался глубоко в землю.

До боли в глазах наблюдает снайпер за передовой линией врага. Зазевавшийся фриц мгновенно попадет на мушку меткого стрелка. Внимание снайпера так напряжено, что он всем своим существом срастается с этой болотистой низиной, с одинокой березкой, с кустами черемухи. Зорко следит он за изгибом траншеи, опоясывающей кромку Липков. Стоп! Из-за бугра метнулась тень. Немецкий солдат бросился к кусту. Бесшумный выстрел. Взмахнув руками, немец распластался на болотной кочке. Гитлеровцы встревожились, открыли пулеметный огонь. Завякали минометы. Нет, снайпера они не обнаружили. Огонь противника ушел на левый фланг. Мины рвутся на пустом квадрате. К убитому не подходят. Немцы проявляют осторожность.

Снайпер видит сквозь линзы оптической трубки убитого фашиста. Видит четко его мундир, голову, уткнувшуюся в землю, подвернутую ногу. Так лежат намертво сраженные пулей...

Как-то Алексею задали вопрос: «На кого легче охотиться, на фашистов или на зверей?» — «Как тебе сказать, — раздумчиво ответил снайпер, — те и другие — звери. Только волк, он от природы зверь хищный, а фашист — это человек озверевший. Он хитрее и опасней, раз он от человека отошел».

— Однажды фронтовой журналист писал обо мне: «Волк прыгнул на охотника. А охотник схватил волка за горло и задушил». Это я, значит... Ну, такого, конечно, не было. Волк на человека не бросается, он понимает, с кем имеет дело. А вот с немецким снайпером у меня был поединок. Хитрый и коварный был фашист. Никак не могли мы его на мушку поймать. Гибли от него наши ребята. А он был неуловим. Да как же так?! До каких же пор он будет держать нас на прицеле? Решили во что бы то ни стало выследить эту хитрую фашистскую лису и вогнуть пулю в лоб. Была лютая зима, морозы трещали, аж земля лопалась. Как-никак, а близко к северу. Ленинградский фронт. Пошли мы с Токаревым, моим учеником и напарником, в засаду. Лежим в снегу и час, и два, и три... Лежка не из приятных, не белые же мы медведи, а человеки. А другого выхода нет. Немецкий снайпер хорошо замаскировался, слился с белизной снежного поля и лежит. Не можем его обнаружить и баста! От напряжения в глазах стало двоиться, а фриц и виду не подает. Не выдержал мой напарник, пронял его мороз, повернулся с боку на бок, капюшон сполз с головы, а немец тут как тут: дзи-и-нь! Пуля рикошетом чиркнула по каске. Токарев клюнул носом в снег, притаился. Обнаружен! Теперь берегись. На мушке.

— Уходи глубже в снег, — говорю я ему, — а каску надевай на палку и делай движения, будто ползешь.

Токарев быстро сообразил мой замысел. Показал немцу каску, а я в перископ наблюдаю. Из-за снежного вала немец выглянул и дал очередь по каске. Я этого только и ждал: легкое прикосновение к спусковому крючку и... снайперский ас уронил голову на снежную грядку. Чуть в стороне обнаружился и наблюдатель. Гибель снайпера, видимо, ошеломила его, он потерял бдительность, высунулся... Я и его приветил. А волк не полез бы на мушку. Волк и фашист — звери разные.

* * *

Группа снайперов во главе с Кочегаровым скрытно заняла позиции на нейтральной полосе. Тщательно замаскировались, стали изучать расположение немецких войск. Было решено произвести огневой налет по обороне противника, а снайперам в это время поохотиться.

В условленное время артиллеристы открыли шквальный огонь. Снаряды, поднимая черные султаны земли, ложились в цель. Разбит дзот, уничтожено 75-мм орудие вместе с прислугой, взрывами разметало

несколько блиндажей. Немцы лезли в землю. Но вот загорелся склад боеприпасов. Тут уж не усидишь. Гитлеровцы бросились тушить пожар.

— Этого-то момента мы и ждали. Фигурки мечущихся солдат были хорошо заметны. Мы открыли прицельный огонь. Били наверняка. И неведомо было в этой суматохе немцам, кто их поражает: осколки снарядов или пули снайперов.

По всему Ленинградскому фронту гремела слава о мастерстве и отваге снайпера Кочегарова. Возникло движение снайперов-кочегаровцев. Алексей Федорович охотно передавал свой опыт молодым стрелкам. Снайперу мало быть метким стрелком. Он один на один встречается с врагом. Ему приходится принимать самостоятельно решения, в которых недопустимы даже малейшие промахи и ошибки. В засаде он сам себе полководец, стратег и тактик. Здесь некому посоветовать, как надо действовать, что надо предпринять. Если у тебя не хватит хитрости и сноровки, то ее проявит твой враг.

Пленные немцы, взятые на участке Кочегарова и его учеников, в один голос заявляли, что они несут большие потери от снайперского огня. «Мы все время чувствуем себя на прицеле снайперской винтовки, — признавался долговязый ефрейтор. — Только здесь, в плену, я разогнулся во весь рост», — добавил он.

Кочегаров с любопытством наблюдал за пленными: «Такого верзилу взять на прицел не сложно, если бы он там разогнулся».

Знатному снайперу присвоили офицерское звание. Ему вменили в обязанность обучать молодых снайперов на краткосрочных курсах. Практику он проводил с ними на передовой линии, в засадах.

«Фронтальная правда» опубликовала статью «Предпраздничный салют снайперов». В ней сообщалось:

«По всему фронту ходит слава о мастерах снайперского огня — учениках старшего лейтенанта Алексея Кочегарова. 26-ю годовщину Октябрьской революции кочегаровцы встречают новыми боевыми успехами. За 18 дней они истребили 76 немцев.

Еще шесть убитых фрицев прибавил к своему счету старшина Павел Кривулин, недавно вновь пришедший на линию огня из госпиталя. Всего он убил 46 немцев.

На счету старшины Мурзакова появилась за эти дни цифра 46. Столько фашистов сразил этот снайпер! Его товарищ, снайпер Фоминский, убил 60 немцев. 56 гитлеровцев истребил сержант Исламов».

На Ленинградском фронте состоялся слет снайперов. На слете выступил Кочегаров. Газета напечатала его выступление:

«Мстя немецко-фашистским оккупантам, — заявил снайпер, — я с ноября прошлого года истребил из винтовки 128 гитлеровцев. В каждом убитом фашисте я вижу приближение нашей окончательной победы над врагом. Никакие трудности, в том числе суровые зимние морозы и метели, никакие опасности не остановят меня.

Я никогда не забуду тех зверств фашистов, которые все мы видели при наступлении. Это убитые дети, старики и женщины, это сожженные и разграбленные города и села. Я буду истреблять гитлеровцев, как хищных зверей.

Давайте, товарищи истребители, еще больше, еще жестче мстить врагу. Давайте настойчиво работать над совершенствованием своих военных знаний и помогать нашему фронту уничтожить фашистских оккупантов.

Снайперскому делу я обучил уже свыше 30 бойцов и командиров и сегодня беру обязательство — в короткое время подготовить еще не менее десяти снайперов.

Командование фронта высоко оценило мои заслуги, наградив меня снайперской винтовкой и автоматом ППШ.

Я благодарен за это высокое доверие. Хочу еще раз заверить коман-



дование и всех здесь присутствующих, что от меня пощады гитлеровцам не будет!

Разгромить немецко-фашистских оккупантов — наша главная задача и я буду выполнять ее, не щадя жизни».

После каждой вылазки молодые снайперы собирались в землянке вокруг своего командира. Шел разбор операции. Советы Кочегарова помогали молодым приобретать опыт, мастерство, крайне необходимые снайперу. Ошибка, промашка снайпера может стоить ему жизни. Были, были такие промашки... Кровью они оплачены.

— Во-первых, ребята, научитесь хорошо понимать местность, — советовал Алексей Федорович. — Ее надо уметь, как книжку, читать. Приглядитесь, до боли в глазах приглядитесь: что там за кустом, за бугорком, в рывине. Где дзот замаскирован, где блиндаж прикрыт, где пушка притаилась, где пулеметное гнездо свито стервятниками. Избери несколько ориентиров, определи до них расстояние и запомни. Глазами «пристреляй» эти ориентиры. Это тебе пригодится, когда появится цель. Тогда некогда будет вести расчеты.

Во-вторых... Огневую позицию подбирай так, чтобы ты все видел, а фашисты и не подозревали твоего присутствия. Хороший обзор надо иметь. Тогда ты хозяином будешь на своем участке.

И еще одна заповедь: если у тебя нет выдержки и терпения, не будет из тебя доброго снайпера, скорее всего станешь добычей врага. А подставлять свою голову под пулю — ума много не надо. Заметил

цель — не вертись, не суетись. Это тебе не дома на полатах. Внимательно наблюдай за целью и как только убедился, что фашист будет сражен — стреляй! Вот так-то, ребята... У снайпера ни одна пуля не должна лететь «за молоком». Промазать — это, значит, оставить фашиста живым. Второй раз стрелять по фашисту надо только тогда, когда первой пулей не убил, а только ранил.

И еще: военная хитрость и смекалка не должны никогда покидать снайпера. Немцы стремятся во что бы то ни стало поймать нашего брата на прицел. Идут на хитрость: выставляют чучела, устанавливают макеты пулеметов, поднимают на палке каску. А вдруг клюнет на приманку, раскроет себя, тут ему и каюк. Был у меня такой случай: фашисты сначала дразнили меня каской, затем сделали несколько перебежек. Я молчал. Когда фрицы убедились, что по ним никто не стреляет, два фашиста вылезли из траншеи и стали что-то собирать на земле. Вот тут-то...

Два убитых немца до самого вечера лежали там, где их настигла смерть. Никто больше не показывал ни головы, ни каски. Боялись.

А если бы я не выдержал и открыл огонь по пустой каске, что тогда бы было?

— Знамо дело. Открыли бы огонь из всех видов оружия.

— Тут бы они всю землю изрыли, но снайпера бы уничтожили. Нет, что ни говори, а выдержка — наипервейшее дело в нашей снайперской работе.

Немцы теперь на нашем участке стали больше ползать на животе, чем ходить на ногах. Наш огонь их гнет к земле. Пускай гнутся, не по своей ходят. Не в гости званы, с мечом пришли.

* * *

Утром Кочегарову сообщили: вместе с ним в засаду пойдет майор. Журналист.

Кочегарову не раз приходилось иметь дело с газетчиками, давать им интервью, но, чтобы ходить на снайперскую охоту, — такого не было. Опасное это дело, рискованное. Журналист не обучен снайперскому ремеслу, а с пистолетом что там делать? Если он засуетится? Газетчики — народ дотошный. Станет выглядывать из засады, чтобы фрицев описать... Они опишут. Нет, несподручно иметь в таком деле лишнего человека. Необстрелянный... Но приказ есть приказ.

Кочегаров не знал, что майор Лукницкий — участник гражданской войны, что он сражался с басмачеством в Средней Азии, что он добровольцем пришел и на эту войну. Он не знал, что этот невзрачный на вид человек, автор многих книг, а его произведению «Всадник и пешеходы» Алексей Максимович Горький дал высокую оценку. Пройдет время и будет издана книга «По дымному следу», в которую войдет очерк о снайпере Кочегарове.

А сейчас, в мглистое предрассветное утро, они миновали чахлый березняк и уползли к снайперской засаде. Тщательно замаскировались. И вот началось наблюдение снайпера за противником, а писателя за снайпером. Сибирский охотник с первых же минут понравился майору своим спокойствием, хозяйской уверенностью, простотой в ответах на вопросы. Без рисовки, без хвастовства.

В блокноте писателя появились первые заметки: «Сибиряк. Крепкий, кражистый... Доброе открытое русское лицо... Родом из Алтайского края, из далекой деревушки с рыбацким названием Мормыши. (Мормыши — приманка.) Династия Кочегаровых испокон веков была связана с хлебоборбским и охотничьим делом. Не чужда она и ратного примера. Отец на царской службе нес повинность, потом против царя выступил. Дядюшка — партизанский командир. Брат Пимен погиб в борьбе с колчаковцами. Крепок корень кочегаровский: землю пахал и от

ворога ее защищал. Говорит: «Теперь снова надо за Отечество заступиться». Вспоминает: «В тридцатом году всем селом взошли в колхоз». «Взошли»... — хорошо сказано!»

И еще одна запись:

«Вдруг... Неужели такая редкость?.. Поет соловей! Где он?

...Даже внимательный к наблюдению за врагом Алексей Кочегаров выдержать этого не может. Поворачивает ко мне лицо, размягченное такой хорошей, почти детской улыбкой, какой я еще у него не видел.

— Ишь ты, голосовик, лешева дудка! Коленица выкручивает! И дробь тебе, и раскат!..

...Певун поднялся, полетел над болотом, покружился у другого куста, помчался дальше, к вражескому переднему краю. Вместе со мною следя за его полетом, Алексей шепчет:

— Не должен бы ты немцу петь!

И, взглянув мне прямо в глаза, вздыхает:

— Да где ж ей, птахе, в горе нашем-то разобраться!..»

Поздно ночью, при свете коптилки, склонившись над самодельным столиком в землянке, майор дописывал очерк:

«...Из-под куста черемухи одним прыжком вырывается человек. Пригибаясь к земле, он быстро-быстро бежит по бровке канала к линии бугорков. Ясно видны его каска, его голубовато-серая куртка. И прежде чем можно подумать, зачем он вскочил и куда бежит, Кочегаров нажимает на спусковой крючок. Сухой звук — и фигура, ткнувшись головой в землю, замирает.

— Есть! — удовлетворенно горячим шепотом определяет Кочегаров, и на усталом лице его, прильнувшем к прикладу винтовки, спокойная презрительная улыбка. — Ну, теперь начнет крыть!

Тишина сразу же разорвана яростной трескотней незримого пулемета. Он бьет из-под того бугорка, куда бежал человек. Он захлебывается длинной очередью, и Кочегаров, ткнув меня локтем, беззвучно смеется:

— Видишь, куда берут! Они думают — из опушки!»

Кочегаров укладывался спать.

Нет, писатель выдержал снайперский экзамен. Он не суетился, не проявлял растерянности, не нарушал маскировки, четко выполнял советы снайпера. А в блокнот что-то пописывал, какие-то заметки все делал. Ему виднее, что записать надо, на то он и писатель. А наше дело снайперское, мы на мушку берем — и на этом точку ставим.

* * *

Мамонтово — край партизанский. Село носит имя прославленного полководца сибирских партизан Ефима Мефодьевича Мамонтова. Благодарные земляки воздвигнули ему памятник. Здесь же установили партизанскую пушку.

Мамонтово — край хлеборобный. Село в ожерелье золотых хлебных нив и зеленых лугов. Вплотную подступает сосновый бор. За ним, то тут, то там, кружатся девичьими хороводами березовые колки.

Широко разлилось озеро Островное. В тихую водную гладь смотрятся деревянные пятистенники, сложенные из гулких сосновых накатов. Спят старые ветлы, ступив с песчаных берегов в воду. Омочили в светлой голубой прохладе зеленые косы печальные ивы. Тихий прибой баюкает рыбацкие лодки у причала. Важно шествуют гуси к воде... Мамонтовская Венеция!

— А что, Алексей Федорович, — спрашиваю я Кочегарова, — на охоту-то хаживаешь?

— Бывает. — Он понял мой вопрос. Улыбнулся. — Не промахнусь, если что.

На мое приглашение побеседовать с ним бывший снайпер Ленинградского фронта явился при всех боевых регалиях: грудь украшали орденом боевого Красного Знамени, орденом Красной Звезды, медали.

В местном музее я видел его портрет во фронтовой газете: бравоый офицер со снайперской винтовкой на плече. Сейчас передо мной стоял несколько пополнившийся мужчина с сединой на висках, но с такими же, как и прежде, добрыми глазами и такой же улыбкой, какими их запечатлел фронтовой фотокорреспондент.

Кочегаров подал мне снайперскую книжку.

— Оставил внукам на память. Пускай помнят деда.

Много раз пропитанная солдатским потом самодельная книжечка в серой дерматиновой обложке с истертыми уголками... Неровно подрезанные листочки сшиты суровой ниткой... Бесценная реликвия.

Я бережно развернул книжку. Рука дивизионного писаря размашисто вывела: «Истребительный счет лейтенанта Кочегарова Алексея Федоровича. Винтовка № 4492».

В книжке, как говорится, все было «честь по форме»: расчерчены графы, в них указаны год, месяц, день, количество уничтоженных фашистов, звание и фамилия ответственного лица. В конце каждой странички подведен итог, заверенный гербовой печатью 372-й стрелковой дивизии и подписью помощника начальника оперативного отдела дивизии капитана Красильникова.

В книжке снайпера значилось 136 уничтоженных фашистов.

— Было время... считали убитых. Война... Если бы мы их не убили, убили бы они нас.

Третья страничка. В графе «количество истребленных фашистов» значится:

7 июня 1943 года убил одного.

8 июня — двоих.

13-го — двоих.

14-го — одного.

27-го — двоих.

28-го — троих.

Итого: одиннадцать фашистов.

— Ярость благородная вскипала, как волна... Я недавно снова перечитал на этот счет замечательные слова Михаила Александровича Шолохова. Он писал:

«...От Сталинграда до Берлина и от Кавказа до Баренцева моря, где бы, мой друг, ни остановился твой взгляд, всюду увидишь ты дорогие сердцу матери-Родины могилы погибших в суровых сражениях бойцов. И в эту минуту ты острее вспомнишь те бесчисленные жертвы, которые принесла твоя страна в защиту родной Советской власти, и величественным реквиемом зазвучат в твоей памяти слова: «Вечная память героям, павшим в борьбе за свободу и независимость нашей Родины!»

Мой дорогой друг и соотечественник! Пусть не стынет наша ненависть к врагу, даже поверженному! И пусть с удесятеренной яростью кипит, клокочет она в наших сердцах к тем, кому нет названия на человеческом языке, кто все еще не насытился прибылями, нажитыми на крови миллионов, кто в сатанинском слепом безумии готовит истрадающемуся человечеству новую войну!

Их зловещие имена с проклятиями, с гадливостью произносит каждый честный человек в мире, они обречены историей на черную гибель, и время со всей старательностью уже плетет для них надежные удавки. Но пока они живы, пока, не скупясь, отсыплют миллиарды долларов на создание атомных бомб, на подготовку новой чудовищной войны — пусть живет и наша неистребимая ненависть к ним. Она пригодится в нужную минуту!..»

— Хорошие слова. Я так думаю: если станешь забывать старую войну, придет новая...

— Это правда.

Я листал странички снайперской книжки и видел сквозь них огненные дороги войны, черные султаны взрывов, руины городов и сел, кровь солдат... Я вспомнил живых и мертвых фронтовых друзей.

— Сегодня Рейган и его окружение грозят войной, — сказал Алексей Федорович. — И уже договорились до того, что не мы, а они победили фашистов в 1945-м. А тогда...

Он подал мне истертый на сгибах плотный лист бумаги. Читаю:

«СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ.

Все, кто увидит эти документы, должны приветствовать и оказывать почести этому человеку.

Настоящим подтверждается, что президент Соединенных Штатов Америки, уполномоченный актом конгресса от 9 июля 1918 года, наградил серебряной звездой лейтенанта Красной Армии СССР Алексея Федоровича Кочегарова за храбрость в военных действиях. Выдано от моего имени в городе Вашингтоне 13 июня 1944 г.»

Печать. Подписи.

— Раньше они наши заслуги признавали... А вот и сам орден.

Алексей Федорович показал американскую награду. Серебряная звезда тускло блеснула на солнце. Подержал ее на ладони и снова положил в папку с документами.

Да. Смел и отважен советский солдат. Бесхитростен и честен. Если грянет беда, позовет Родина на ратный подвиг, и снова он, хлебороб, рабочий, встанет грудью на защиту своей земли. Сыновья и внуки его встанут.

Я вспомнил американских солдат в первые дни мира. В Берлине у рейхстага, на Унтер-дер-Линден, у Бранденбургских ворот, на Александер-плац солдаты отмечали радостный День Победы. Вот, недалеко от рейхсканцелярии, возле танка Т-34 пляшут русские и американские солдаты. Заливается гармошка. Из канистры танкист наливает в алюминиевые кружки спирт, угощает американца. Союзник просит разбавить спирт водой.

— Переведи, — обращается танкист к переводчику, — дружбу водой не разбавляют. За дружбу честную и вечную!

Американец заулыбался, выдохнул (танкисты научили!) и, закрыв глаза, залпом выпил спирт.

— Ура! Вот это по-нашему! Воевать так воевать, выпивать так выпивать! В честь победы можно.

Союзник задохнулся, на глазах навернулись слезы, ему дали воды, он замотал головой:

— О' кей!?

— О-о-о... кей...

— Раз о' кей, то ишшо налей!

Рядом шел разговор без переводчика. Языка не знали, но провозглашали тосты.

— Ты, океюшка, выпей, — уговаривал казаковатый усач американского солдата. — Спирт пшенишный, друг станишный... Только уговор дороже денег: по вашему доллары, по-нашему — рубли, значит... Мы на вас с войной не пойдем. И ты не ходи. Нам своей хватит земли-то... Сам сообрази: на хрена нам за окнан к вам топать, станиш... или как там тебя... О' кей?

— О' кей. О' кей!

Запели «Катюшу»:

Выхо-о-одила на берег Катюша...

Американец подпевал:

Вийхо-о-тийла на перех Кать-тьюшья-а...

— Катюшья, о' кей!

Где они теперь те парни, с которыми мы праздновали День Победы в Берлине? Остались безработными или отправились воевать во Вьетнам? Нет, не все ушли воевать. Известно, что многие ветераны войны выходили к Белому дому, требуя прекратить грязную войну против вьетнамского народа. Солдаты возвращали в знак протеста военные ордена.

* * *

Каждая встреча с ветераном войны — это, прежде всего, воспоминания о фронтовых огнях-пожарищах. Кочегаров рассказал мне о встрече со своим командиром, с друзьями-снайперами. Без конца задавали друг другу вопросы: «А ты помнишь?» Было о чем вспомнить. Дружба, скрепленная кровью на войне, — вечная дружба.

— Фронтовые друзья зачисляются в ранг родных людей. Навечно в памяти остаются те, кто умер на твоих руках...

Слушая Кочегарова, я вспомнил о поездке в ГДР.

...С речного шлюза далеко видны Зееловские высоты. Они горбятся широкими спинами, уходя, как солдаты, колонна за колонной, в землю. Здесь мощным огненным валом мы шли на штурм Берлина. Теперь не узнать эту землю. Она зеленая и голубая, мирная земля.

На окраине одной из деревень я обнаружил могилу наших солдат. Я встал на колени перед обелиском, вырвал просочившуюся у холмика траву, положил ладони на прогретую землю и, склонив голову, мысленно спросил: «Ну, как вы здесь, хлопцы?»

А мне в ответ — молчание...

«Сорок лет будет скоро с тех пор... слышите, други?»

А мне в ответ — молчание...

«Мы видели эти высоты в огне. Я шел вместе с вами. Помните?»

А мне в ответ — молчание...

«Я принес на вашу могилу горсть родной земли, примите ее.»

А мне в ответ — молчание...

«Я привез вам вечную память и вечную скорбь о вас родных и друзей. От всех живых. Мы не забыли вас.»

А мне в ответ — молчание...

«Матери все еще ждут вас, видят во сне вас живыми...»

А мне в ответ — молчание...

Я наполнил стеклянную банку водой, поставил ее у подножия обелиска и опустил комельками в воду красные гвоздики. Такими гвоздиками проступала кровь сквозь солдатские гимнастерки. Красные гвоздики. Сколько их рассеяла война по белу свету!.. Каждая из них — это символ нашей боли, нашей печали, нашей утраты и нашей победы над ненавистным врагом человечества. Жертвенным был путь к светлому миру.

На обелиске высечены имена павших. Я записал их в блокнот:

Алиев Г. М.	Роднинский А. П.
Антонюк И. А.	Скименко Ф. Т.
Будаев К. Г.	Струнин С. А.
Беловин Я. И.	Довускаков Ф. И.
Беляев И. Л.	Жицков А. Ф.
Вакуновский А. П.	Кустов Г. Н.
Воронов Н. С.	Клавушенко А. Г.
Гирла Е. Ф.	Кистенков П. М.
Мешалкин Я. К.	Таковой В. Т.
Мотяк В. С.	Тунченко А. Г.
Никитенко М. У.	Файзулин И.
Ползников А. И.	Федотов К. Т.
Прокофьев П. Д.	Хасанов А.

и неизвестных один лейтенант и 93 солдата».

...И неизвестных. Их имена известны родным и друзьям, о них помнит Родина, воздвигнув у Кремлевской стены величественный памятник НЕИЗВЕСТНОМУ СОЛДАТУ.

Я спросил у переводчика, как называется эта деревня.

— Клостерфельде.

Пусть никогда не вянут на этой могиле красные гвоздики! В них кровь и память наших солдат.

* * *

Хлеба пошли в колос. В каждом новом зернышке забродило молоко жизни. Грозовые всполохи озаряют по ночам затяжелевшие нивы. В это время природа творит великое таинство рождения хлебного злака, золотит пшеничное зерно янтарным светом. Гроза на налив — будет пахарь счастлив! Сеятель всегда верит в свое счастье. Он его творец. Труд и надежда — его опора на земле. Но... на бога надейся, а сам не плошай. Нет, не оплошал нынче хлебороб. Хлеба встали стеной, а колос в нем — литой.

Кочегаров остановился на краю хлебного поля. Бережно потрогал колосок, уложил его, как ребенка на ладонь, чуть прижав заскорузлым пальцем — не ровен час выпадет из рук...

— К сорокалетию Победы отменный урожай к нам явился... Добрый хлеб родила нам земля.

Отпустил с ладони стебелек. Колосок пружинисто соскочил, распрямился и закачался, радуясь солнцу и ветерку.

Я смотрел на Кочегарова и думал: если сложить количество всех уничтоженных фашистов снайперами Ленинградского фронта, то это равно выигрышу целого сражения. И во главе этого сражения был он, алтайский охотник из Мамонтовского района.

...Плывут над полями ослепительно белые облака. И только в самой выси над ними растекается темно-серое пятно, клубясь и все больше темнея.

— Быть дождю.

Сверкнула сухая молния. Раскат грома ударил жизнеутверждающим победным залпом. Густым шелестом отозвались и закачались под ветром тяжелые хлебные колосья...



Цесюлевич Леопольд Романович родился в 1937 году в г. Риге, где и пережил вместе с родителями фашистскую оккупацию. Окончил Академию художеств Латвийской ССР. На Алтае живет с 1963 года. Член Союза художников СССР.

Леопольд ЦЕСЮЛЕВИЧ

ПОД ВРАЖЕСКИМ НЕБОМ

КАРТОШКА

Отец лежал в тени за сарайчиком на старом поблекшем ватном одеяле, из которого по всем краям вылазила серая, грязная вата. Лежал на боку, скорчившись, подтянув колени почти к подбородку. Глаза отца были закрыты, отчего вокруг них образовалось множество острых складок. Обычная его глубокая морщинка между бровями стала резкой и длинной. Лицо было бледно, и на висках проступали синие разветвленные вены.

Павлик тихо стоял и смотрел на отца. Сказать что-либо, предложить какую-то свою помощь он не решался. Таким отца он видел уже не раз. Павлик знал, что у отца болит желудок, не раз он слышал слово «язва», но смысла этого не понимал.

Он постоял еще немного возле отца, потом тихо, стараясь ступать совершенно бесшумно, ушел к сестре. Здесь, в углу сада, возле калитки, была высокая трава, цветы. Он лег лицом вниз. Постепенно мысли о виденном отошли, и он стал замечать, что находилось перед его глазами.

Полуденное солнце светило ярко. Оно просвечивало белые лепестки ромашек, ажурные головки тысячелистника, зажигало ярким зеленым цветом сочные листья травянок. Лучи его застревали в многоярусных бутонах львиного зева. Густой мир трав звенел и сиял полнотой своей жизни. Играли невидимые кузнечики, где-то гудели пчелы.

Павлик очень любил такие часы, когда можно предаться самому себе. Это бывало обычно после обеда, когда утренние работы в саду окончены — редиска, помидоры, лук были политы, по ведру вылита на кусты смородины, на молодые яблони.

Воду качал обычно Павлик. Насос был ручной, чугунный. Вода стекала по подвешенному жестяному стоку в старую деревянную бочку, зарытую до половины в землю и поросшую зеленым мхом. Оттуда сестра черпала лейкой и носила поливать. Отец носил воду ведрами. У Павлика была своя маленькая лейка, краска с нее облезла почти полностью, но еще виднелись следы красного цветка. После помидоров, смородины, яблонь поливали картошку. На песчаной сухой почве росло плохо. Надо было удобрять, поливать. В желтом горячем песке картошка вырастала мелкой, но плотной и белой. В этом году урожай ее обещался быть неплохим. Уже скоро можно будет копать. Отец говорил, что на всю зиму хватит. «С голоду не помрем», — повторял он.

Павлик помнил, как прошлой осенью они копали картошку. Сперва отец вилами выкапывал борозду, потом мама и он с сестрой, ползая на коленях, орудовали малыми тяпками, сыпали картошку каждый в свою корзину. А затем отец еще раз перекапывал лопатой и всегда находил хоть несколько картофелин. Собирали даже совсем маленькие, как горох.

Но Павлику больше всего нравилось наблюдать растения просто так, часами смотреть, что происходит в странном мире многотравия. Он любил прикладывать лицо к самой земле и вглядываться в гущу трав, как будто бы это был лес, и он сам его житель, наподобие этих бесчисленных шустрых муравьев, мошек, стоножек, длинноногих пауков, комаров, черных, мощных, блестящих навозных жуков, медлительных пушистых, рыжих гусениц. А когда надоедало наблюдать этот маленький мирок, Павлик поворачивался на спину и, как теперь, всматривался в небо.

— Kinder, wo ist der Wirt, wir brauchen kartoffeln*.

Внезапно Павлик услышал громкий чужой голос и вскочил. Он увидел перед собой два больших темных силуэта. Как зашли сюда люди? Как он не слышал их шагов?

Благоухающий, загадочный, жужжащий мир и влекущая синь потускнели, исчезли. Перед Павликом стояли две темных тени. Глаза постепенно отвыкали от яркости неба. И он увидел людей в широких желтых подкованных сапогах, коротких кителях с серыми металлическими пуговицами, в больших шерстяных пилотках. Немцы!

Вернулась действительность, война. Их огород — крайний. За прозрачной стеной непрочного забора — зеленые холмы, вдаль — темная полоса леса. Там, в лесу, Павлик знал, окопы, ямы. Там, в земле, — зенитки, танки, затянутые сверху металлической сеткой. Замаскированные блиндажи, землянки, много солдат. А в каком-то доме недалеко отсюда поселились офицеры. Может быть, эти солдаты оттуда? В руках у них ведра. Но что им нужно?

Павлик побежал к отцу. Когда отец медленно встал, и они вместе вышли из-за сарайчика, то Павлик увидел, что солдаты, повернув им свои спины и низко наклонившись, роют их картошку, небрежно швыряя ее в свои ведра.

НОВЫЙ ПОРЯДОК

Павлик заметил на обочине улицы пожилого согбенного человека в черном поношенном пальто. Поначалу Павлику казалось, что человек хочет перейти улицу, но тот не заходил на тротуар и не переходил улицу, а все шел по обочине мощенной булыжником проезжей части, где был сток воды, куда дворник сметал лошадиный навоз и мусор. Шел человек с опущенной головой, не глядя на людей. Когда человек прошел мимо, Павлик заметил на его сутулой спине желтую заплату. Странно, зачем на черном пальто посередине желтая заплата? Павлик хотел спросить мать, но она строго на него посмотрела и сжала его руку, и он понял, что на улице об этом говорить нельзя.

Нельзя, опасно — к этому уже Павлик привыкал. Кругом — опасно. Только дома можно расспросить мать. «Новый порядок вводят немцы», — объяснила мать. «Теперь люди еврейской национальности не имеют права ходить по тротуарам, они могут ходить только по обочине мостовой и на спине их должна быть звезда царя Давида — шестигранная желтая звезда».

«Новый порядок?» Что такое порядок, Павлик знал очень хорошо. Мать ему часто напоминала привести в порядок его уголок, где были всякие деревянные кубики, бакулки, дощечки, реечки, ящик с гвоздями, молотком, деревянный автомобиль на веревке, пахнущий опилками и масляной краской. Но «новый порядок» — что это?

Однажды отец вернулся с работы слишком рано. Его уволили. Отец долго сидел за пустым кухонным столом и не отвечал на их вопросы. Павлик хорошо знал название бывшей работы отца — частный

* — Дети, а где хозяин, нам нужна картошка! (нем.)

университет. Там отец преподавал латынь и древнегреческий. И вот теперь был уволен.

Потом Павлик видел неприятного зелено-желтого цвета бумажку-повестку, с которой отец должен был идти на трудовую биржу. Там, во дворе громадного шестизэтажного серого дома, люди стояли в изнурительной длинной очереди к окошку, где проверяли документы. Кого направляли на работы в Германию, кого оставляли тут. Порядок в очереди охраняли солдаты с оружием на груди. Люди от изнеможения падали, теряли сознание.

Отца как больного и к «физическому труду не годного» пока оставили тут. Но этот «новый порядок» стал замечаться всюду.

Городской водопровод перестал работать. За водой ходили к колонке. Она была в небольшом тенистом сквере под большими липами за два квартала от их дома, старая чугунная колонка с геральдическими литыми украшениями, скрипучим железным рычагом, отполированным до блеска тысячью руками. Здесь всегда стояла длинная очередь людей с посудой. Мама приходила с ведром, Павлик с белым бидоном с черными пятнами отбитой эмали. Людей было много, но они не разговаривали между собой, стояли, не глядя друг на друга. Слышен был только шум воды, наливаемой в разную посуду. И больше ничего. Даже дышали люди, казалось, бесшумно.

Однажды на обратном пути Павлик увидел, что движется им навстречу по мостовой странная колонна людей. Шли сплошной массой, медленно. Колонна приближалась. Усталые лица, сжатые губы. Шли мужчины, женщины, многие с детьми. Шли молча, понуро. Павлик увидел на спинах людей те же желтые грязные заплатки.

По бокам колонны шли солдаты в мундирах стального цвета, с винтовками наперевес, в тупых, с тусклым холодным блеском касках. В люльке мотоцикла вдоль колонны ехал офицер в черном мундире, в фуражке с высоко загнутым верхом. На ней Павлик увидел белый череп со скрещенными под ним двумя когтями. Офицер все время поглядывал по сторонам, наблюдал редких прохожих на тротуаре, всматривался в каждого. Пристальный взгляд приковывал к себе, и Павлик не мог отвести от него глаз. Мать сжала его руку и шепнула: «Только не смотри», — и увлекла его в переулок.

Почему нельзя смотреть на офицера и куда гонят эту колонну несчастных людей?

Новости можно было узнать на кухне, где мать с соседкой по вечерам делились услышанным. Закрытые плотно черными бумажными шторами окна, приглушенные голоса. Говорили о том, что на «московском форштате» Риги создано гетто, что его окружает двойной ряд колючей проволоки. Туда согнаны евреи. А в лесу под городом в Бикерниеки часто слышны выстрелы.

И что после евреев их место в гетто займут поляки, белоруссы, русские. Значит, черед дойдет и до них?

А перед глазами у Павлика стояло, нет, двигалось и двигалось молчаливое шествие. Не гнали ли тогда людей в тот страшный лес, название которого ему казалось означало смерть — Бикерниеки?

КОНФЕТКА

Это произошло совсем неожиданно. Если бы они к такому случаю готовились, возможно, и знали бы, что делать. Но теперь произошло замешательство. Никак они не думали, что такое случится с ними.

Павлик с сестрой и отцом вышли на улицу.

Погода была теплой, летней. Только они вышли из ворот своего дома и направились в сторону восточного предместья, как обогнал их высокий, с холемым розовым лицом молодой офицер, резко повернулся к ним и, глядя на отца, произнес:

— Darf ich seinem Mädchen dem Bonbon geben?* — Вытащил из кармана наглаженных галифе круглую жестяную коробку и стал ее открывать.

Сестра была на три года старше Павлика, ей было лет восемь. И она, наверно, выглядела миловидно со своей ровно подстриженной челкой и чуть вздернутым небольшим носиком.

Конфеты, которыми немецкие офицеры угощают детей... Сколько разговоров Павлик об этом слышал, сколько историй об этом ходило! Столько же, как о сладком кофе.

Сахара не было. Кофе, вернее «эрзац» его, подавали везде без сахара. Но если кофе с сахаром, то он с ядом. Сладкий кофе однажды, говорят, подали в доме престарелых, или, как его все называли, — доме убогих.

Этот дом Павлик хорошо знал. По дороге в сад они всегда проходили мимо него, большого, сумрачного, тяжеловесного трехэтажного здания под старыми, высокими, тенистыми тополями за каменной оградой.

После этого сладкого кофе, говорили, не осталось там больше ни одного старичка и старушки. Подслащенная отравка. Было ли так именно, Павлик не знал, но действительно вскоре тут устроили казарму, и дом из пульверизатора окрасили в противные светло и темно-серые аморфные разливы — для маскировки. Павлик сам видел этих солдат за работой с ранцами краскопультов за спиной.

Конфеты из яркой коробки — они покрыты такой же зловещей славой, как машина для «катания» детей в гетто. Дети с радостью селятся в крытый кузов машины покататься, тем более, что шофер улыбается. А потом эта машина выгружает отравленных выхлопными газами детей — или точнее, уже их скрюченные тела.

И этот офицер тоже улыбался и держал коробку с маленькими желтыми карамельками перед лицом сестры. Улыбался и, заметив нерешительность, добавил:

— Fürchten sie sind nicht vergiftet.**

Но разве можно верить? Павлик чувствовал отчаянное состояние отца, хотя тот старался быть спокойным. Разрешить взять конфету, но если она действительно отравлена? Отказать немцу — не простит обиды, и трудно предвидеть последствия. Драться с ним? Кругом немцы, день. И даже если одолеть этого одного, то за такое расстреляют людей всего квартала, ни к чему не причастных. Такое уже было на Чекуркалнском предместье, где в одном дворе однажды утром нашли убитого солдата.

Секунды тянулись. Вдруг решение нашла сама сестра. Ее смекалистая натура подсказала хитрый выход. Она протянула руку, взяла одну конфетку, улыбнулась, «сделала ножкой», сказала: «Danke schön»*** и ловко сделала вид, что кладет конфетку в рот, но оставила ее в руке. Это она умела делать хорошо. Это ей удавалось лучше, чем Павлику. В таком детском баловстве они часто упражнялись — «съел или не съел»?

Немец поверил. Довольно улыбнулся, подмигнул и зашагал, цокая подкованными каблуками начищенных до блеска сапог.

Когда вернулись домой, отец достал из зажатых и вспотевших пальчиков сестры липкую карамельку и выбросил в ведро.

ЛЕСТНИЦА

Лестница была неосвещенной. Павлик помнил ее всегда такой. Может быть, она когда-то освещалась, об этом свидетельствовали за-

* — Разрешите угостить вашу девочку конфеткой? (нем.)

** — Не бойся, не отравленные.

*** «Благодарю».

пыленные матовые плафоны в темных углах лестничных площадок. Но горящими их Павлик никогда не видел. Его воспоминания не уходили глубже первого года войны. Казалось, война была всегда и всегда будет. И ходить по лестнице всегда было страшновато. Гулко отдавались шаги в темном пространстве лестничного колодца.

В этом шестизэтажном доме до войны работал лифт. Теперь старый лифт безжизненно застыл внизу на первом этаже. Железная сетка лифтовой шахты дребезжала от каждого неосторожного прикосновения, и ее нервная вибрация доходила до самого верха. Наверху было немного светлее. От стеклянного купола здесь днем проникал блеклый свет. Но от него не становилось уютнее, наоборот, этот холодный, отчужденный свет усиливал чувство опасности.

Ночью выйти на лестницу было особенно не по себе. Большой дом был почти пуст. Кто из жильцов уехал, кого увезли. Высокие чужие двери молчали. Отец бесшумно повернул ключ в замке. Воздух лестницы обдал Павлика холодом и сыростью. Стараясь не стучать, он подошел к холодным перилам и осторожно глянул вниз. Пространство переплетений круглой каменной лестницы было пусто. Здесь, у железной сетки лифтового колодца, он должен был остаться и наблюдать — не появится ли кто на лестнице. Тогда он должен предупредить отца.

Но было тихо. Он махнул рукой отцу, и тот с небольшим узелком в руке и бидоном воды подошел к двери соседней квартиры и осторожно, медленно стал открывать ее. Павлику казалось, что отец слишком долго возится. Наконец, дверь тихо скрипнула, и силуэт отца исчез за ней. Павлик остался один. Сильно колотилось сердце, казалось, что стук его отдается эхом по металлическим стальным решеткам. Внизу никто не появлялся. Ничьих шагов не было слышно. Только какой-то тревожный неуловимый звук, казалось, застыл в затемненных углах холодной лестницы.

Тогда Павлик поднял взгляд вверх. За стеклянными перекрытиями угадывалось ночное небо. Не было видно ничего — ни звезд, ни синевы, но ясно ощущалось присутствие огромного необозримого пространства, полного отдаленными звучаниями. В черных просторах вибрировал неровный гул пролетающих где-то ночных бомбардировщиков, то отдаленный, то внезапно близкий. Когда они проходили рядом, дребезжало какое-то одно стекло в железной раме. Когда самолеты затихали, ясно слышался ровный, мерный гул канонады. Временами можно было разобрать отдельные взрывы. В невидимом темном пространстве все эти звуки резонировали и распространялись, казалось, наполняя всю бездну беспредельности эхом войны.

Скрипнула дверь. Павлик с испугом очнулся от задумчивости. С опаской глянул вниз. Но было пусто. Он кивнул отцу. Отец стал снова медленно запирает дверь.

За этой дверью находился незнакомый человек. Они с отцом его спрятали в этой пустой квартире.

Три дня назад поздно вечером кто-то тихо постучал. Отец открыл. Потом Павлик видел, как на табуретке в кухне сидел высокий плечистый человек в черном плаще, и мать с отцом стаскивали с него сапоги. Когда сапоги сняли, Павлик увидел, что обе ноги его были сплошь облеплены спекшейся и свежей кровью. Потом Павлик узнал, что этот человек выручал своих товарищей, что-то делал, был арестован жандармами. Потом его конвоировали через весь город в порт, там ему удалось сбежать, прячась за угольными горами. Теперь его разыскивают.

Павлик смотрел на окровавленные его ноги и думал, что ему очень больно, но тот, совсем непонятно почему, улыбался. Посматривал на Павлика и улыбался. Давно Павлик не видел улыбки на человеческом лице. Но этот человек улыбался широко, и глаза у него тоже улыбались.

КОРАБЛЬ

Отец заболел. Врач, живший квартирой ниже и тоже скрывавшийся, пришел вечером и сказал, что похоже на тиф, но это не тиф, а какое-то нервное заболевание. Худые, костистые руки отца покрылись красными пятнами. Отец лежал на кровати, покрытый белой простыней, а поверх простыни лежали его руки.

Отец бодрился. Уже в который раз рассказывал, как в первую мировую войну, когда тоже был голод, они со своим отцом жили на Взморье, на старой покинутой даче, и пекли блины из кленовых листьев.

Но из чего же теперь печь блины? Вчера мать посадила Павлика с сестрой за стол, дала по лепешке. Они были испечены из последней муки. Запивали водой с сахарином. Павлик заметил, что мать не ела.

Так просто было бы собрать кленовые листья. Парк совсем недалеко. Стоят старые большие клены в Верманском саду. Но для этого надо выйти на улицу. А выходить стало совсем опасно. Еще на прошлой неделе, выходя за водой или в лавку, Павлик с мамой старались не попадаться немцам. Уже научились ходить быстро вдоль стен домов, почти перебегая от подворотни к подворотне. Заметив впереди людей в форме, забегали в парадные и поднимались на какой-нибудь этаж. Потом осторожно выходили на улицу и спешили дальше.

Немцы стали ловить людей прямо на улице и отправлять в Германию. Они хотели вывезти весь город. Хотели будто бы спасти людей. А два дня назад пришел дворник и сказал, что надо всем, взяв с собой самые необходимые вещи, идти в Андрейоста, в порт, где формируются корабли с беженцами для отправки в Германию. Сказал, что надо идти обязательно.

Что было делать? Но сомнений в том не было, что они никуда не пойдут. Оставалось не подавать никаких признаков жизни и надеяться, что немцы не станут ломать двери. Но чем питаться? Да еще рядом, в соседней квартире, тот человек, который тоже голоден.

Мать все же рискнула выйти на улицу. Совсем рядом, за углом, лавка мадам Бергман. Может быть, она еще там, постучать, она впустит, продаст что-то. Павлик заметил, как мать взяла из коробки на трюмо и положила в сумку кольцо и браслет.

Мать вернулась скоро. Принесла буханку ржаного хлеба, кусок сала и немного муки. Но мать вернулась очень встревоженной. Уже поднимаясь по лестнице, на втором этаже, она столкнулась с дворником и двумя жандармами. И дворник сказал, указывая на нее, что эта дама с мужем и детьми еще не уехали. Жандарм сказал, что надо идти на корабль немедленно. Иначе будет плохо.

— Но муж болен, он сейчас не может...

Жандарм сказал, что на корабле есть лазарет.

Корабль. Павлику очень хотелось плыть на корабле. Он никогда не плавал. Но об этих кораблях он слышал страшные рассказы. Это старые негодные торговые корабли, на которые грузят очень много людей. Людям негде ни сесть, ни прилечь. Столько набито людей, плачут дети. Их успокаивают: потерпите немного, потом будет хорошо...

Корабли выходят в море — и там их затапливают. А команда на катерах возвращается, чтобы принять новый корабль — и новую партию пассажиров.

Ночь прошла тихо. Даже не было воздушной тревоги. Но утром раздалась резкие удары в дверь. Мать подошла и спросила: «Кто там?»

— Жандармы. Откройте, а то сломаем дверь.

Мать открыла. Павлик увидел, как на порог шагнул большой грузный человек в пепельном мундире, в тупой, угловатой каске. На груди его тускло поблескивала полукруглая бляха, висящая на цепи. Знакомый вид жандарма, который всегда связывался в сознании Павлика с понятием смерти. Теперь она на их пороге.

— Почему не на корабле? — спросил жандарм. — Немедленно собирайтесь!

— Если не бонтесь, заходите, — как можно спокойнее сказала мать. — У нас тиф.

Наступила тишина. Потом Павлик увидел, как жандарм молча повернулся и исчез в темноте лестницы. Мать захлопнула дверь и рухнула на табурет.

МАШИНА В ПОДВОРОТНЕ

Смотреть в окно было нельзя. Мать теперь запретила вообще подходить к окну.

Стекла окон были уже давно заклеены крест-накрест полосками бумаги, чтобы они не высыпались от взрывных волн. Так делали все в городе. Плотная малопрозрачная занавеска закрывала весь проем окна.

Но даже не подходя к окну, Павлик замечал, что на улице происходит что-то необычное. Раньше такого никогда не было. Ясно было слышно, как мимо их дома идут и идут тяжелые грузовики. От их гула вибрировала земля, дребезжали стекла окон. И все машины шли только в одном направлении — к Задвинью. Если бы Павлик встал ногами на подоконник, то он бы смог увидеть движение машин. Но теперь это было немыслимо.

Окна дома выходили во двор. Здесь все было знакомо Павлику: асфальтированная дорожка, две квадратные клумбы по бокам, большой стройный тополь... От улицы двор отделял одноэтажный низкий дом с подворотней. Железные решетчатые ворота. Через эти ворота иногда раньше въезжали машины.

Вот и теперь Павлик явно услышал знакомый звук открывания ворот. Что-то у ворот происходило. Сдержанность любопытства он уже не мог. Он отодвинул краешек занавески, глянул во двор. И увидел, как медленно, задним ходом въезжает в ворота большой грузовик с брезентовым тентом. Но во двор он не въехал. Остался в подворотне, закрыв собою выход на улицу. Потом из кабины спрыгнули двое в военной форме. Один сразу направился в дом. Второй открыл задний борт, снял китель и повесил его на край. Павлик хорошо видел его сине-серого цвета рубашку, подтяжки из желтой толстой кожи, широкие, с тисненым орнаментом и зубчиками по краям. Подтяжки плотно прилегали к его круглой, жирной спине. Солдат взял из кузова топор и направился тоже в дом. Павлик отшатнулся от окна, солдат мог его увидеть.

Пошли ломать двери? Сгонять людей в машину?

Сказать об этом маме? Но мать запретила смотреть в окно. Будут ли ломать их дверь? Павлик ждал.

Потом он услышал металлический хруст во дворе. Он снова поднял край занавески и одним глазом глянул во двор. Он увидел жирную спину того же солдата, топором открывающего футляр большой черной пистолетной машинки. Еще движение топором — и крышка футляра открылась. Солдат постучал пальцем по клавишам, захлопнул крышку и небрежным движением двинул машинку в глубь кузова. Павлик отошел от окна, так как в это время солдат опять повернулся к нему лицом и пошел в дом.

Было слышно, как снова что-то грузят в машину. Но больше Павлик смотреть не решался. Дойдут ли до их квартиры? И что тогда будет, если их найдут? Мать и отец не знали, что происходит, но Павлик напряженно стоял у окна и прислушивался. Загудел мотор, лязгнули ворота. Уехали.

А по улице все шли машины. Шли все в том же направлении. Только вечером, когда в комнатах стало совсем сумрачно, движение на улице затихло. Наступила тишина. Но это была уже другая тишина, не та, которая царит на безлюдных улицах города в последние недели, когда

каждый шаг по мостовой отдавался эхом в окружающем пространстве, когда само пространство, казалось, было насыщено вражеским присутствием, холодным и мертвящим.

И это была не та напряженная тишина, когда на их пороге стоял жандарм. В этой тишине почудилась Павлику первая оттепель перед весной. Будто бы сам воздух потеплел. Город, дома, влажные железные крыши — все оставалось прежним, но изменилось что-то в самом пространстве.

И лишь дальним гулом звучала привычная уже канонада. Но эти звуки не нарушали тишину и не пугали Павлика, они скорее вселяли надежду.

ПОСЛЕДНЯЯ НОЧЬ

В напряженном ожидании наступила ночь. В дверь постучали. Пришел врач. Он сказал, что город пустой, немцы ушли за Даугаву. Но просто так они город не оставят, надо ожидать обстрела.

Решили ночевать внизу, на первом этаже. Прятаться от дворника уже нет необходимости.

Отец поднялся, оделся, взяли вещмешки. Мать открыла соседнюю квартиру. Человек в черном плаще ничего не спрашивал и не говорил. Казалось, что он все знает. Спустился с нами вниз.

Здесь, в большой покинутой многокомнатной квартире, уже были люди. Через затемненные черными бумажными шторами окна никакой свет снаружи не проникал. Только в гостиной на большом круглом громоздком столе горела крохотная плошка. В ее бледном свете Павлик узнал знакомые лица соседей.

Люди почти не говорили между собой, но между ними чувствовалось единение — их связывала общая беда, общая опасность и общая мысль.

Постепенно стали устраиваться спать на больших, старомодных диванах, софках с кожаным покрытием. Незнакомец в черном плаще сдвинул вместе два больших тяжелых кресла и кивнул Павлику: устраивайся. Он опять улыбался Павлику, но теперь эта улыбка не показалась странной. То, что происходило, было необычно. И в настроении всех этих молчаливых людей чувствовалось дружное взаимопонимание, которое вливалось тепло в душу. Незнакомец лег на полу, накрывшись плащом.

Павлик лежал на своем ложе недвижно, прислушиваясь к звукам, доносящимся извне. Знакомый мерный рокот канонады теперь рассыпался на множество отдельных выстрелов, взрывов. Слышались непрерывающиеся пулеметные очереди. Потом воздух потрясла мощная волна грома. Она повторилась еще и еще. «Взрывают мосты», — сказал кто-то в темноте.

Потом раздался резкий высокий свист. Свист нарастал и нота его звучания понижалась. Этот неизвестный пока для Павлика звук удивил его и показался случайным. Но тут же Павлик услышал совсем близкий громкий хлопок и за ним шорох, такой, какой бывает, когда сыпят крупу в бумажный кулек. Не успел угаснуть шорох, как опять возник новый свист, и тут же за ним еще и еще. Нарастая, усиливаясь и приближаясь, свист переходил в низкий вой и заканчивался хлопком. Павлику стало ясно — артиллерийский обстрел.

Он слушал и слушал этот свирепый оркестр, мысленно сопровождая свист снарядов от возникновения его до взрыва. Свистело и грохотало кругом. Разрывы слышались и ближе и дальше. Когда Павлик слышал громкий свист, всегда казалось, что снаряд летит прямо в их дом. Но всегда он пролетал куда-то дальше.

Вдруг совсем без прелюдии свиста грохнуло так близко, так оглушительно, что всколыхнулась земля. И тут же раздался противный скрежет разлетающихся и бьющихся стекол. Задвигались, зашептали в ком-

нате люди. Попало в наш дом, подумал Павлик, и напряженно ждал еще более страшного. Но снаряды продолжали и продолжали свистеть, падая где-то в отдалении, но таких близких разрывов больше не повторилось. Павлик устал следить за их воем, устал слушать их разрывы. На него напала истома, и он уснул.

Проснулся Павлик от оживленного и непривычно громкого движения в комнате. Воя снарядов и разрывов не было слышно. В квартире люди шумно ходили, двигали мебель, громко говорили. Это было совсем небывалым. Павлику хотелось еще спать, но его кресла разъехались и лежать теперь на них было совсем неудобно. Он бы поправил кресла и спал дальше, но мешал шум в квартире. Люди все о чем-то говорили. Павлик подумал, что теперь пойдут наверх, а вечером, когда снова начнется артобстрел, пойдут опять все вниз. Но спать еще ночь на этих креслах ему не хотелось. Завтра он ляжет на пол рядом с незнакомцем. Это будет удобнее.

Отец подошел к окну, дернул за шнурок, поднял черную штору. В комнату влился серый тихий свет октябрьского утра. Это действие отца Павлик мог еще понять. Но все дальнейшее было совсем непонятным. Отец открыл окно и широко его распахнул.

Медленно, не сразу, Павлик стал осознавать — все! Свершилось! Освобождение!

Весь прежний мир, все прежние мироощущения рухнули и исчезли. Исчез тот ледяной холод опасности, исчезло чуждое, мертвящее дыхание, к которому Павлик уже привык и которое чудилось ему вечным. Его дом с каменным тротуаром, окружающие темные старые дома, небо с низкими облаками — все было то же, но все это теперь излучало теплоту, безопасность и ободрение.

Днем, выбежав на улицу, Павлик увидел колонну немецких солдат. Павлик поначалу испугался и замер, но тут же опомнился, все понял и облегченно вздохнул — по улице вели пленных немцев. И Павлику даже показалось, что одно из этих лиц он видел вчера, в подъезде своего дома... Но это уже было прошлое.

В Риге, в живописном парке «Межапарк», на окраине города, у просторного Киш-озера, стоит обелиск. Он посвящен советским воинам, погибшим здесь, у стен столицы Латвии, вечером 12 октября 1944 года. Здесь, в неожиданном для врага месте, наши части, форсировав Даугаву, ворвались в город, заставив фашистские войска спешно уходить на запад, в Задвинье. Утром 13 октября вся правобережная часть Риги была освобождена. Город был спасен, разрушен был только район около мостов, взорвана набережная. Враг не успел осуществить всех своих планов — вывезти все население в Германию, а город взорвать.

В операции по освобождению Прибалтики и столицы Латвии — Риги принимали участие войска Ленинградского, 1-го, 2-го, 3-го Прибалтийских фронтов, в составе которых были 130-й Латышский стрелковый корпус.

Сорок лет прошло с тех незабываемых дней.

Михаил ДЛУГОВСКОЙ

Длуговской Михаил Федорович — участник Великой Отечественной войны. Автор нескольких книг, изданных на Алтае. До последних дней жизни был руководителем Бийского литературного объединения.

ОТ БРЕСТА К БЕССМЕРТИЮ

В открытом письме героям Брестской крепости, опубликованном вместо предисловия к своей книге «Брестская крепость», Сергей Сергеевич Смирнов писал:

«Сейчас Брестская оборона — одна из дорогих сердцу советских людей страниц истории Великой Отечественной войны. Руины старой крепости над Бугом почитаются как боевая реликвия, а вы сами стали любимыми героями своего народа и повсюду окружены уважением и заботой. Многие из вас уже награждены высокими правительственными наградами, но те, кто еще не имеет их, не обижены, ибо одно звание «защитник Брестской крепости» равнозначно слову «герой» и стбит ордена или медали».

Сколько еще имен этих героев-брестцев пока неизвестно народу! До последнего времени неизвестен был и наш земляк, бийчанин Василий Алексеевич Болдырев. О его судьбе не знали даже родители и родственники. В списках по учету боевых потерь бийского горвоенкомата он значился пропавшим без вести, о чем 25 июня 1946 года было вручено извещение отцу Василия. Другими данными горвоенкомат не располагал...

Пропавший без вести... С какой болью мы произносим эти слова! Много еще безымянных могил. А ведь нет безымянных солдат, у каждого было свое имя. Могила безымянного солдата — это укор живым, как сказал поэт Михаил Дудин.

1.

Василий Болдырев до войны служил в гарнизоне Брестской крепости во второй минометной роте 125-го стрелкового полка.

— Сибиряк? — спросил в беседе с молодым бойцом командир батальона Шабловский.

— Так точно, товарищ капитан, из Сибири, — ответил Василий и уточнил, — с Алтая.

— С сибиряками довелось встречаться. В финскую. Крепкие парни, боевые.

— Такие уж мы есть, — улыбнулся Болдырев.

Трудовую жизнь Вася начал учеником на фабрике «Кожобувь», где работал его старший брат Григорий. Здесь вступил в комсомол. Зная его любовь к спорту, администрация выдвинула Болдырева физруком. Оживилась спортивная жизнь в коллективе. В популярном спортивном обществе обувщики были в числе лучших, на городских соревнованиях

они занимали призовые места. Василия назначили инструктором «Спартака».

Однажды секретарь горкома комсомола пригласил Василия к себе и сказал, что есть мнение выдвинуть его на работу в ОСВОД заместителем начальника водной станции.

Не хотелось уходить из родного коллектива, привык, прикипел. Но он должен идти туда, куда посылает комсомол. За тем и вступил, для того и бережно хранит в кармане «юнгштурмовки» дорогой сердцу комсомольский билет.

2.

Приближалось время службы в Красной Армии. И Василий готовил себя к этому радостному событию в жизни.

Вспомнивая о своем бывшем друге, капитан запаса, инженер отдела подготовки кадров управления автомобильной дороги Павел Терентьевич Коровин рассказывает:

— Вася прививал волевые и патриотические качества молодежи. Не жалел ни сил, ни времени для спортивных занятий. Он всегда говорил, что спорт укрепляет мышцы, вырабатывает волю, а это как раз и потребуется, когда придется служить в Красной Армии.

Василий внимательно следил за международными событиями. Он приучил себя: ни дня без газеты. Нужную, по его мнению, заметку рекомендовал прочитать своим товарищам.

Как-то в «Комсомольской правде» была опубликована статья «Фашистская Германия готовит захват Чехословакии». После работы он собрал всех сослуживцев и прочитал ее вслух.

Книги, которые читал в то время Василий, были насыщены не такими уж далекими отзвуками гражданской войны, колчаковского вандализма. Это было время первых пятилеток, стахановского движения. На экранах шли фильмы «Чапаев», «Семеро смелых», «Трактористы», «Волочаевские дни», «Партийный билет»...

Почти все из этих фильмов Василий и его друзья смотрели по два-три раза. Из зала уходили возбужденные, горячо спорили.

События не проходили бесследно. Время накладывало отпечаток на характер, будоражило мысли, заставляло думать, ставить перед собой вопрос: как сложится твоя будущая жизнь? Будущее виделось прекрасным. Отслужишь срок в Красной Армии, вернешься домой, женишься...

И вот он уже в красноармейской форме с малиновыми петлицами на гимнастерке. Рядовой минометной роты. Стройный, красивый, с волевыми чертами лица. С первых дней службы привлек к себе внимание командиров и политработников. Не зря при наборе в полковую школу командир батальона капитан Шабловский рекомендовал Василия Болдырева.

3.

Брестская крепость на Буге. Василий уже знал кое-что из ее истории и гордился, что довелось здесь служить. Он знал, что это крепостное сооружение строилось русским народом многие десятки лет. Сейчас здесь рубеж нашей Родины. А там, за Бугом, земля Польши, захваченная фашистской Германией. Там гитлеровский фельдмаршал Теодор фон Бокк, сосредоточив под своим командованием более пятидесяти пехотных дивизий и две танковые группы генералов Гудериана и Гота, с вождением смотрел на восток.

Гарнизон Брестской крепости, состоявший из небольшой части боевых сил 6-й и 42-й стрелковых дивизий, 33-го инженерного полка, 9-й заставы 17-го пограничного отряда, почти на месяц приковал к себе 45-ю и часть сил 31-й пехотной дивизий врага и нанес им большие потери.

За провал наступления на Брестскую крепость Гитлер сместил с должности командира 45-й дивизии фон Дрейлина.

Враг бросал в бой все новые и новые силы, блокировал узлы сопротивления. Ценой огромных потерь ему удалось замкнуть вокруг крепости кольцо. У защитников крепости на счету были каждый патрон, каждая граната, они терпели невыносимые муки жажды, у них почти не было продовольствия. Но стояли насмерть, до последнего дыхания. Крепость истекала кровью, но не сдавалась. Каждая минута этих легендарных дней была овеяна беспримерным подвигом командиров и бойцов.

Имена защитников Брестской крепости золотыми буквами вписаны в летопись Великой Отечественной войны. Среди этих героев Бреста был бийчанин Василий Болдырев.

4.

Еще до войны Болдырев был принят кандидатом в члены партии. Получая кандидатскую карточку, он говорил:

— Постараюсь с честью оправдать звание коммуниста.

В этот радостный для него день Василий отправил письмо в бийский горком комсомола. Он писал, что комсомол воспитал его, научил, как надо на деле любить Родину, что комсомол подготовил его к вступлению в ряды партии большевиков, что если случится война, он будет драться с врагом, как подобает коммунисту.

Коммунист Болдырев, как и все его боевые товарищи, знал, что рано или поздно, а воевать с фашистами придется. Для него война не была неожиданностью.

Как ее встретили брестцы, рассказывает в своем письме бывший командир отделения минометного расчета Ф. М. Кузнецов, живший после войны в совхозе «Нижнегорский» Крымской области:

«Вечером 21 июня, в субботу, меня вызвал командир роты Помисский и приказал двигаться с бойцами своего отделения на охрану дота, который находился в районе аэродрома, в четырех километрах от крепости. В этом доте располагался склад с боеприпасами.

Вот там-то нас и застала война. На рассвете, в 4 часа 22 июня, враг начал артиллерийский обстрел крепости и города Бреста.

Немцы били фугасами по казармам. Из нашего полка на территории крепости оставалось человек пятьдесят, все остальные находились на строительстве оборонительных рубежей. Вместе с другими курсантами полковой школы в крепости оставался и Василий Болдырев.

Те, кто читал книгу лауреата Ленинской премии С. С. Смирнова «Брестская крепость», знают, как все было. Позволю себе привести небольшой отрывок:

«Казармы полка уже горели, и издали было видно, как из окон второго этажа, выбросив вниз матрацы, прыгают с винтовками в руках курсанты полковой школы. Здесь и там босые, полуодетые бойцы бежали к земляным валам, где в казематах помещались склады с оружием и боеприпасами. Но лишь немногим удавалось добраться туда — по дороге их подстерегали засевшие в кустах фашистские диверсанты, которые расстреливали бегущих из автоматов и пулеметов. А вскоре первые отряды переправившихся через Буг автоматчиков ворвались в расположение полка, хлынув через западные валы крепости, и все усилия немногочисленных командиров организовать тут единую оборону были тщетными. Группы наших бойцов, здесь и там залегшие на валах, засевшие в казематах, были отрезаны врагом друг от друга и вели борьбу самостоятельно.

...За ночь автоматчики еще два или три раза пытались ворваться в дом. Их отбили, но зато последние патроны оказались при этом истраченными, и группа Шабловского стала совершенно беззащитной. Когда наступило утро, дом был окружен плотным кольцом гитлеровских сол-

дат, а потом сюда подошел еще немецкий танк. Все находившиеся здесь были взяты в плен...»

Так оказался в плену и Василий Болдырев. Теперь все мысли были только об одном: бежать. Но как? Уже многие его товарищи по лагерю расстреляны и лежат в земле.

Идут томительные, черные дни, месяцы лагерного ада. Только бы не пасть духом. Только бы не потерять веру. Ты все равно будешь на свободе. Ты еще будешь с оружием в руках сражаться с фашистами. Обязательно будешь!

...Наряду с другими копиями документов, полученных мною из мемориального комплекса «Брестская крепость-герой», есть и такая:

«Институт истории партии при ЦК КП Белоруссии. Филиал института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. Партархив.

Сообщаем, что Болдырев Василий Алексеевич, 1919 года рождения, русский, кандидат в члены ВКП(б), по учетным данным партархива, с 4 ноября 1943 г. по 9 января 1944 г. числился рядовым партизаном отдельного действовавшего отряда им. Котовского Брестской области. В графе «Откуда прибыл в партизаны» записано — «Из Германии». В графе «Куда выбыл, причина и дата выбытия» — указано: убит немцами при уничтожении линии связи на железной дороге Антополь—Городец. Похоронен в д. Выгода Антопольского района. Других данных на Болдырева В. А. в материалах партархива не обнаружено».

Скупы слова документа. Но, вчитываясь в них, видишь, какая невероятно трудная и сложная судьба у этого человека.

Сбежав из лагеря, Василий решил начать новую боевую жизнь на той же земле, на которой началась его служба в Красной Армии и где он встретился с коварным и злейшим врагом, сражался до последнего патрона, не щадя своей жизни.

В одной из деревень Брестской области он встретил паренька лет четырнадцати-пятнадцати. Паренек чем-то привлек внимание, да и Василий, видно, вызвал у мальчика доверие. Подростка звали Виталькой. Он помог Болдыреву связаться с партизанами. Потом уже Василий узнал, что Виталий оказывал помощь партизанским разведчикам.

Так Василий Болдырев стал народным мстителем. О его боевых подвигах в тылу врага я узнал из письма бывшего заместителя командира партизанского отряда по разведке Алексея Даниловича Подоляка, ныне персонального пенсионера города Бреста.

Василий Болдырев был храбрым и бесстрашным партизаном. В боях с карателями уничтожил не один десяток немецко-фашистских захватчиков. Принимал участие в диверсионной работе, взрывал воинские эшелоны врага. Всегда успешно выполнял задания в разведке.

Девятого января 1944 года группа партизан, в которой был и Василий Болдырев, выполняла задание по уничтожению линии связи на железной дороге Антополь—Городец. В схватке Василий был ранен в живот. Партизаны вынесли его с поля боя и доставили в деревню Выгода. Но спасти жизнь его не удалось, рана оказалась смертельной...

* * *

В том же открытом письме С. С. Смирнова героям Брестской крепости, с которого я начал этот документальный рассказ, есть и такие строки: «В истории Отечественной войны до сих пор много неизученных «белых пятен», нераскрытых подвигов, неведомых героев, которые ждут своих разведчиков, и здесь может кое-что сделать даже один писатель, журналист, историк».

Неведомым героем был и наш земляк Василий Алексеевич Болдырев. Мы ничего не знали о нем, о его подвигах. Добрые люди помогли нам шаг за шагом, страничку за страничкой проследить его жизненный путь от комсомольской юности до героической смерти.

Петр БОРОДКИН

НЕ КАЖДОМУ ДАНО

Стоял декабрь. Метельные дни сменялись крепкими морозами. По большой сибирской дороге потянулись в Петербург длинные караваны, с одним из которых и отправился Степан Иванович Гуляев.

Больше полутора месяцев караван ходил в пути. Длительная езда не утомляла Степана Ивановича. Напротив, смена мест, встречи с разными людьми позволяли глубже интересоваться историей, языком. На почтовых станциях удалось записать несколько былин.

Четыре года Гуляев не был в столице, много, наверное, за это время произошло перемен.

Гуляев представлял, как обрадуются друзья его сибирским подаркам — коллекции минералов, археологическим находкам. От этого становилось по-мальчишески весело.

В таком приподнятом и восторженном настроении и въехал Степан Иванович Гуляев ранним февральским утром в Петербург.

Со двора Горного департамента караван отправили в Монетный двор. Там Степан Иванович в течение дня сдал содержимое каравана опытному пробирщику и только после того стал себе хозяином. Первым, кого он повстречал в Горном департаменте, оказался член Горного ученого комитета генерал-майор Озерский, бывший начальник Алтайских горных заводов, который совсем недавно покинул Алтай. Генерал щурил близорукие глаза, стараясь вспомнить Степана Ивановича.

— Никак, советник стола частных золотых промыслов Гуляев?

— Он самый, ваше превосходительство!

Бывший начальник живо расспрашивал про алтайские новости.

— Скажите, советник, не возобновил деятельности закрытый по моему указанию Томский железодельный и чугуноплавильный завод?

— Никак нет. С производством железа и чугуна бывшего обветшалого Томского завода успешно справляется Гурьевский железодельный завод.

После расспросов о делах в «золотом столе», Озерский поблагодарил Степана Ивановича за беседу, пригласил заглянуть в Горный ученый комитет.

Бывшие сослуживцы по Петербургу встречали Степана Ивановича по-разному — кто с шумным восторгом, кто с затаенным

любопытством. А Иван Ненарокомов сказал:

— Поздравляю, Степан Иванович, с новой должностью! Видать, тебе вольнее там дышится, чем нам здесь? Рассказывай про свои дела.

Гуляев вздохнул:

— Везде, Иван Ксенофонтович, одно и то же! Служба остается службой, а взяточничество — взяточничеством.

— И у вас? — вырвалось у Ненарокова.

— И у нас, Иван Ксенофонтович. А вот для занятий делом, полезным для души, простору там больше, ты прав.

Степан Иванович рассказал про награды Вольного экономического общества за экспонаты, представленные им в Петербург на выставку сельского хозяйства и промышленности.

— О-о! — воскликнул Ненарокомов. — Да ты настоящий ученый!

Наконец, к исходу второго дня Степан Иванович решил навестить Срезневского.

* * *

Профессор-славист, филолог и этнограф, член Петербургской академии наук Измаил Иванович Срезневский был моложе Гуляева на семь лет. Познакомились они несколько лет назад на одном из литературных вечеров, где собирались любители русской народной поэзии. Срезневский был основателем школы славистов в Петербурге, его учениками являлись Чернышевский и Добролюбов. Знакомство со временем переросло в дружбу. Два человека, родившиеся за многие тысячи верст друг от друга, оказались близкими по духу. Общение с ним помогло Гуляеву с предельной ясностью понять многое из того, что ранее воспринималось лишь чутьем, интуитивно.

В свою очередь обширные познания Гуляева в этнографии являлись неоценимым подспорьем для ученого в его исследованиях и изысканиях.

Помнится, придя однажды в гости к Степану Ивановичу, жившему в то время еще в Петербурге, Срезневский был поражен богатством этнографического материала, собранного Гуляевым в Западной Сибири.

— Дорогой Степан Иванович, да вы же обладатель бесценного сокровища! И вы обязаны непременно поделиться своими сокровищами.

— Что вас интересует? — с готовностью отозвался Степан Иванович. Срезневский улыбнулся:

— Меня все интересует. Но я имею в виду не себя, а многих других любителей народного творчества.

— Каким же образом поделиться мне с ними?

— Простым и общезвестным, — хитро посмеивался Срезневский. — Не держать под спудом вот эти, скажем, очерки Юго-Западной Сибири, а подготовить их, дополнить соответствующим образом и опубликовать.

— Опубликовать? Вы считаете, что они достойны публикации? — удивился и обрадовался Гуляев.

— Не только считаю — уверен в том. Срезневский принял в этом самое горячее участие, познакомяв его с редактором «Библиотеки для чтения» Сеиковским, которого вскоре сменил Старчевский. Рукопись долго ходила по рукам, ее читали, отзывались о ней хорошо, но издавать не решались. Кто-то даже высказался в том смысле, что если б автор имел имя...

Срезневский настаивал: «Вот вы издайте — и будет у автора имя».

Накопец брошюра была издана. И разошлась в течение нескольких дней.

* * *

Старший сын Гуляевых поступил учиться в гимназию. И тут для него, как ни странно, камнем преткновения явился русский язык. Степан Иванович подверг длительному и тщательному анализу бытовавшие в то время в гимназиях учебники русского языка и нашел, что в них содержание оказывалось неудовлетворяющим любознательность юношей ввиду перегрузки обширным фактическим материалом без достаточного исторического освещения.

При самой добросовестной зубрежке учебного материала гимназисты быстро забывали основные положения и правила русской грамматики.

Степан Иванович детально изучил русскую грамматику Греча и Востокова, а затем несколько месяцев изнурительного, по радостного труда посвятил созданию своего пособия «Опыт грамматики русского языка». Сын Александр занимался теперь только по этому учебнику. И уже вскоре выказал немалые успехи. Учитель удивленно как-то спросил:

— Господин Гуляев, каким образом удалось вам так скоро наверстать?

Молодой Гуляев улыбнулся, извлек отцовский «Опыт грамматики русского языка» и показал учителю. Учитель долго листал рукопись, нашел ее вполне подходящим пособием для учеников гимназий.

Однако пособие Гуляева при неоспоримых его преимуществах издавать не хотели, находя, что слишком оно упрощено. Хотя дело было отнюдь не в «упрощении». Военная муштра, господствовавшая в те времена, исключала из гимназического курса всякую попытку логического мышления.

Срезневский утешал друга:

— Ничего, Степан Иванович, ваш «Опыт грамматики русского языка» обязательно выйдет в свет! Дайте время.

Спустя восемь лет был ликвидирован цензурный комитет по рассмотрению учебных пособий. «Опыт грамматики русского языка» увидел свет в своем первоначальном варианте.

Срезневский был первым, кому Степан Иванович подарил свой учебник с дарственной, а точнее сказать, с благодарственной надписью.

Летом 1861 года Гуляев уехал на Алтай. И только после двухмесячного путешествия по необозримым просторам России Гуляевы, наконец, прибыли в Барнаул, мало чем изменившийся за четверть века отсутствия Степана Ивановича. Правда, в городе появились новые каменные здания, воздвигнутые по проектам Якова Николаевича Попова, ученика знаменитого Карла Росси — здания Барнаульского окружного (горного) училища, богадельни, Канцелярии Кольвано-Воскресенского горного начальства, заводского госпиталя и другие. Коношенная-Демидовская площадь, окруженная новыми зданиями, по замыслу архитектора, должна была напоминать уголок Петербурга. В единый архитектурный ансамбль связывал все здания воздвигнутый в центре площади обелиск в честь столетия основания горного производства на Алтае. На цоколе памятника красовался чугунный барельеф зачинателя горного дела на Алтае Акинфия Демидова. Этого оказалось достаточно для горожан, чтобы окрестить Коношенную площадь, старейшую в Барнауле, в Демидовскую.

Всего за год до приезда Гуляева на Алтай начальником Алтайского горного округа стал генерал-майор Озерский, бывший инспектор классов Горного института в Петербурге. Гуляев был наслышан о нем немало, но лично знаком не был. И поэтому отправился на прием к начальнику с некоторой настороженностью: а каково-то примут его на Алтае?

* * *

На дорогах в завод, на городских улицах Барнаула толстым слоем лежала измельченная соковина — твердые и тяжелые остатки шлака от плавки серебра. Черные камешки соковины выполняли успешно основное назначение — делали проезжими дороги в весеннюю и осеннюю распутицу. Летом черные дороги отливали стекляннным блеском, издавали неприятный скрежет под колесами тяжело груженных повозок рудовозов. Истертая в порошок соковина при малейшем ветре вместе со шлаковой и рудной пылью поднималась черными тучами над городом.

Горе бывало какой-нибудь моднице появиться на улицах города в светлом наряде, который тотчас становился грязно-серым. Стены домов чернели, а листва на деревьях становилась к концу лета грязно-зеленой.

Летом, в ветер, город тонул в черных пыльных вихрях. Тогда становилось трудно дышать.

И все же, несмотря ни на что, Гуляев остался доволен переездом. Содержать семью здесь было значительно легче. Дешевле оказались продукты и другие пред-

меты первой необходимости. Чета Гуляевых, после долгих лет недостатков, наконец, вздохнула свободнее. Степан Иванович позволил даже себе оставить учительскую практику, высвободив время для научной работы.

Новая должность таила в себе для Степана Ивановича немалые преимущества. Дело с частными золотопромышленниками давало полную возможность получения самой подробной информации от них по разнообразным вопросам. Само собой количество нужных корреспондентов-золотопромышленников постоянно увеличивалось, возрастали и всевозможные сведения. В подчинении начальника «золотого стола» было немало чиновников.

Они чинили немало препятствий своему начальнику в получении необходимых сведений. Дело в том, что чиновников «золотого стола» интересовало совсем иное, чем их начальника, — получение вознаграждений от золотопромышленников, взяток за выделение выгодных участков и другие операции. Один вид «вознаграждений» был узаконен инструкциями из Петербурга и составлял определенный процент от стоимости золота, сданного золотопромышленниками в лабораторию Алтайского горного округа.

Всю Западную и Восточную Сибирь обслуживала одна золотосплавочная лаборатория — Барнаульская. Поэтому проценты иногда составляли солидную сумму. Ее распределение между чиновниками сопровождалось немалой грязней, доносами начальству на нечестность одних и корыстолюбие других. Новый начальник «золотого стола» не мог отменить установленно порядка получения «законной» мзды, но смотрел на нее, к удивлению чиновничьей братии, с нескрываемым пренебрежением и брезгливостью.

Когда же дело касалось взяток-вымогательств с частных золотопромышленников, то Степан Иванович сам их не брал и, насколько было в его силах, не давал возможности бесчинствовать своим подчиненным.

Обычно взятка выколачивалась таким образом. Золотопромышленники нередко сами находили золотые месторождения на территории Алтайского горного округа, в который входила обширная территория в четырехста тысяч квадратных верст, и делали о том заявку. От чиновников, подчиненных Гуляеву, полностью зависело — дать или нет ход этой заявке. Чтобы золотосодержащая площадь, выгодная для разработки, не попала в руки казны, золотопромышленники или их доверенные не скупались на взятки. Так что «золотой стол» — действительно был золотым.

Однажды к Гуляеву вместе с чиновником по отводу золотосодержащих участков явился доверенный купца Копылова. Купец вел бойкую торговлю в городах Верном и Семипалатинске, был богат и решил умножить свой капитал, вложив в золотосодержащий участок.

Чиновник учтиво доложил Гуляеву:

— Доверенный купца Копылова господин Иванов!

Посетитель выглядел весьма солидно — высокий и статный, одет с иголки.

— Присядьте, — сказал Степан Иванович чиновнику и доверенному и принялся читать письмо купца. Пока Гуляев читал, доверенный хранил вежливое молчание и казался олицетворением невозмутимости.

— Где намереваетесь вести разработки и как скоро приступите к ним? — спросил Гуляев.

— В Марининской тайге, в верхнем течении речки Кундата, где впадает в нее ключ Безымянный, ваше высокородие, — ответил доверенный.

— Брали ли шурфы на заявленном участке и сколько?

— Как же, брали, целых пять шурфов!

После непродолжительной паузы Степан Иванович спросил совсем неожиданное:

— А не случилось ли вам при том находить кости животных, следы человеческих погребений, обломки оружия, домашней утвари?

Чиновник, хорошо знавший Гуляева, отпелся к вопросу его безразлично. Как сидел, храня молчание, так и продолжал сидеть. Напротив, доверенный недоумевающе поглядел на Гуляева и обиженно сказал:

— Мы, чай, не из басурманов, ваше высокородие, чтоб в кладбищах копать.

В довершение своих слов доверенный трижды осенил себя размашистым крестом. Степан Иванович понял, что доверенный тертый калач, и умышленно прикидывается непонимающим человеком.

— А какова там местность, почвы?

— Местность-то обнакошенная, слегка в буграх, а земля для хлебопашества निकудышная — песчаная, с каменным распадком.

— Ну что ж, коли так, участок никем не заявлен, свободен, стало быть. Разрешение на его разработку получите, — и, обращаясь к чиновнику, сказал: — Выдайте свидетельство на пользование участком.

— Покорнейше благодарим вас, ваше высокородие, за оказанную милость от имени нашего доверителя! Многих лет жизни вам!

Когда доверенный, раскланявшись, направился к двери вместе с чиновником, Степан Иванович неожиданно остановил их:

— Стойте, господа! А это что? — взял он со стола пачку ассигнаций. — Кто из вас оставил? Такими суммами, господа, не следует разбрасываться...

— Это презент от хозяина, ваше высокородие, — смутился доверенный. — Десять тысяч. Неужто мало?

Гуляев решительно вернул пакет доверенному:

— Передайте вашему хозяину, что денежных презентов Гуляев не принимает... Будьте здоровы!

С тех пор за Степаном Ивановичем прочно утвердилось мнение среди чиновников и золотопромышленников, как о неподкупном человеке. И его побаивались. Поэтому чиновники, чтобы не нарваться на неприятность, заключали выгодные сделки с золотопромышленниками, минуя своего начальника.

Степан Иванович принялся довольно

рьяно за искоренение взяточничества. Докладывал по начальству о каждом случае. И все впустую.

«Неужели нет ни единого ума, который мог бы подсказать пути искоренения существующего зла?» — думал Гуляев. Вопрос оставался без ответа и потому еще сильнее волновал.

Впрочем, новый начальник Алтайских горных заводов генерал-майор Фрезе не обошел своим вниманием Гуляева. Однажды во время служебного приема он завел недвусмысленный разговор с советником и сделал ему краткое, но далеко не безобидное внушение:

— При полном уважении к вашим научным занятиям я вынужден рекомендовать вам, господин советник, жить прежде всего интересами сослуживцев. Не следует забывать, что служба и честность в нашем понятии не всегда друг другу родные сестры. Надеюсь, вы правильно поняли меня?

— Да, ваше превосходительство, я вас правильно понял, — кивнул Гуляев.

* * *

Степан Иванович переживал чувство радости от переписки с петербургскими друзьями. При этом в памяти воскрешались дни юношеских надежд и мечтаний. Это придавало уверенности в занятиях службой, что являлось немаловажным, когда выпадали неприятности, кончавшиеся обычно выговорами начальства.

После службы Степан Иванович отдавался любимому занятию — и тут он с временем не считался. Ознакомление научного мира с естественными богатствами, устным народным поэтическим творчеством Западной Сибири, распространение полезных для народа практических знаний, привлечение на службу человеку всевозможных открытий и усовершенствований в области материального производства...

Только за один год им были посланы статьи Русскому географическому обществу «О древних народах», через Измаила Ивановича Срезневского для Академии наук «О былинах», Временному артиллерийскому комитету проект производства чугунных пуль, которые «деланы особо».

Легко понять размах деятельности Гуляева. За один год им были собраны и посланы Вольному экономическому обществу в Петербург образцы минералов, древесных пород, шерсть, замша из телячьих шкур и нитки из воловьих жил, изготовленные самим Гуляевым. В том же году Степан Иванович попробовал произвести реформу в делопроизводстве Алтайского горного округа — подал проект о сокращении переписки. Но удар по бюрократизму не достиг цели — проект не получил в полном объеме права на жизнь.

Генерал Фрезе как-то сказал Гуляеву:

— Что это вы, господин советник, не в свои сани садитесь? Ваше ли дело копаться в переписке да советовать, как ее сократить? Мой вам совет: занимайтесь-ка вы лучше вопросами вверенного вам стола. Так-то, батенька мой, будет и вам спокойнее, и другим тоже...

* * *

И вот, спустя четыре года, Степан Иванович снова в Петербурге.

Вечером он зашел к Срезневскому. В гостиной накрыт стол. Бутылки с винами стояли нераспечатанными, рюмки — пустыми. В первые минуты Степан Иванович подумал: «Не вовремя пришел. Видать, незваный гость...»

И попытлся было к двери, чтобы выйти из гостиной. Тут и раздался громкий возглас:

— С приездом дорогого Степана Ивановича!

Сомнений не было — ожидали его. Ему и устроили такую торжественную встречу. Степан Иванович, растроганный и взволнованный, обошел стол и пожал каждому сидевшему руку.

— Чем обязан, господа, такой пышной встрече? Кто мог сообщить о моем приезде?

Якушкин глянул на Срезневского. Тот встал и начал торжественно:

— Ждали мы вас, Степан Иванович, все годы вашего отсутствия. И дождались! Неважно, как мы узнали, что именно сегодня вы покатитесь в моем доме, важно то, что встречаем вас как лучшего друга!

Срезневский обнял Гуляева.

— Ну, рассказывайте, Степан Иванович, про жизнь в местах, отдаленных от столицы. Что там, как?

Срезневский сел рядом со Степаном Ивановичем.

— Нравы чиновников и в тамошних местах сходны со столичными, — сказал Гуляев. — Но поле деятельности для человека любознательного везде остается неограниченным. Кое-что мне удалось сделать. — И вдруг, словно вспомнив, неожиданно спросил: — Что-то я не вижу среди вас Достоевского. Где же он?

— Федор Михайлович приболел, — ответил Срезневский. — Но, думаю, вы его еще повидаете.

Потом разговор как-то незаметно переключился на гуляевские находки; особенно заинтересовали всех новые его записи. Незнакомый Гуляеву человек, как оказалось, профессор университета, разгорячившись, доказывал Якушкину:

— Уважаемый Павел Иванович, не забывайте, что в устной народной поэзии наличествуют элементы патриотизма.

— Согласен. Но никак не любви к князьям, — задиристо отвечал Якушкин.

Срезневский жаловался:

— Да, друзья мои, мало, очень мало мы еще знакомы со старинными рукописями, первоосновами русской народной литературы и русского языка.

— А они все-таки есть, Измаил Иванович, — вмешался в разговор Степан Иванович. — И рукописи, и книги. Вот, пожалуйста, — и прежде чем Срезневский успел что-либо сказать, он извлек сверток из плотной бумаги, развернул и передал ему книгу. — Это для вас, Измаил Иванович. Приобрел на ярмарке в Сузунском заводе у одного крестьянина-любителя древностей.

Срезневский раскрыл кожаный переплет, на титульном листе книги значилось: «Козьма-индикоплов». Книга состояла из

двенадцати глав, или «слов», и написана была крупным уставом, содержала семьдесят пять красочных иллюстраций, рассказывала об увлекательном путешествии некоего Козьмы в «Индикию», или Индию, поэтому и прозванного «индикопловом».

Книга представляла из себя смесь священных легенд и религиозных нравоучений с красочными бытовыми зарисовками.

Восторгу Срезневского, казалось, не было предела. Принимая драгоценный для него подарок, он шутиливо сказал:

— Дорогой Степан Иванович, благодарение судьбе, что она на четыре года вас изгнала из Петербурга! Будь вы в столице, я не имел бы счастья стать обладателем такого редкого сокровища, как эта чудесная книга!

Пряча довольную улыбку в кончики коротких усов, Степан Иванович повернулся к Якушкину:

— Есть кое-что и для вас, Павел Иванович. Это сибирская запись былины об Алеше Поповиче.

Якушкин молча и с благодарностью пожал руку Степана Ивановича. Гуляев вздохнул:

— Сожалею, что нет среди нас Достоевского. Для него были бы небезытересны мои записи о взяточничестве алтайских чиновников, о растлевающем влиянии частной золотопромышленности... Хотя, надо полагать, Федор Михайлович и сам навиделся подобного за эти годы...

Якушкин, успевший пробежать по строкам записи былины об Алеше Поповиче, сказал:

— Предлагаю тост за Степана Ивановича, подвижника науки во глубине сибирских руд... И дай нам бог побольше таких подвижников!

Степан Иванович расстался с друзьями поздним вечером. Вернувшись в гостиницу Горного департамента, долго не мог заснуть, снова и снова переживая события прошедшего дня.

* * *

Почти полгода жизни в столице прошли для Степана Ивановича незаметно. В библиотеке Академии наук и публичной библиотеке удалось найти немало интересных сведений по устной народной поэзии. Степан Иванович читал запоем, делал нужные выписки.

Однако частые встречи с друзьями, посещения различных обществ, музеев, библиотек, знакомство с только что вышедшими в свет научными трудами не могли избавить Степана Ивановича от желания встретиться с людьми, облеченными властью, и рассказать о фактах не прикрытого взяточничества на Алтае. Срезневский предупреждал:

— Зря, Степан Иванович, затеваете вы это, зря. Сил потратите много, а толку, боюсь, никакого не добьетесь.

— Попробую, Измаил Иванович. Как говорят, сыток — не убыток!

В Горном департаменте служил в должности заместителя начальника бывший столоначальник Степана Ивановича, который слыл человеком честным и не мздоим-

цем. Лишь на пятые сутки Степан Иванович попал к нему на прием. Генеральские погоны ладно сидели на широких плечах, шея обвисла на жесткий ворот мундира, чего четыре года назад не замечалось. Высокий начальник сразу узнал Степана Ивановича, встал, приветливо поздоровался:

— Рад вас видеть, господин Гуляев! Да вы не изменились со времени отъезда из Петербурга! Что привело вас ко мне? Просьба по действию алтайских заводов? А может, с личным наказом начальника заводов генерал-майора Александра Ермолаевича Фрезе?

— Не угадали, ваше превосходительство, — улыбнулся Гуляев. — Во-первых, пришел поправить бывшего своего начальника. А во-вторых, решил рассказать о том, какие порядки, а вернее, беспорядки бытуют на алтайских заводах.

— И что ж это за порядки?

— Смеею доложить, ваше превосходительство, что на Алтайских заводах среди чиновников процветает взяточничество.

— Ну, сие не ново. И в больших размерах?

— Сколько бог на душу положит, ваше превосходительство.

— Вы, надеюсь, не относитесь к числу таковых? Вот и хорошо! И впредь старайтесь блюсти высокую нравственность. Что касается других... Послушайте моего совета: оставьте их в покое. Плетью обуха не перешибешь.

Срезневский при встрече спросил Степана Ивановича:

— Ну, как, Илья Муромец, одолел ли ты рать поганых?

— Попытался, да уперся лбом в стенку.

— То-то и оно! Не одолеть тебе, Степан Иванович, эту стенку. Плюнь да занимайся своими делами. Больше проку будет.

— Вы правы, Измаил Иванович, напрасно я затеял эту борьбу, тяжелую и непосильную. Последую вашему совету.

— А коли так, — сказал Срезневский, — вот вам еще совет: бросайте службу, переезжайте в Петербург, тут вплотную можно заняться наукой.

Всего мог ожидать Степан Иванович от Срезневского, но только не этого предложения.

— Нет, дорогой Измаил Иванович, ваше предложение заманчиво да неприемлемо по многим причинам. И первая из них — прикипел я там, на Алтае, не смогу без него. Никакая наука в голову не пойдет. Да и семья слишком большая, чтобы содержать ее в столице, не имея за душой ничего, кроме жалованья. Нет, нет, это просто невозможно! Благодарю, дорогой Измаил Иванович, за предложение, чувствую, что оно от души, но не могу им воспользоваться.

— Значит, по-прежнему остаетесь возле науки? Очень жаль!

— Почему же возле науки? — не согласился Степан Иванович. — Возможно там хоть и невелички, но есть.

— Ну что ж, быть, как говорят, поспе- му! Только прошу вас, дорогой Степан Иванович, не отрывайтесь со своими служебными делами от науки — вы ей очень нужны.

Вернувшись в гостиничный номер, Степан Иванович обнаружил записку.

Мелкий почерк с большим наклоном вправо показался ему знакомым. Глянув на подпись, он взволновался и обрадовался: Достоевский!

Федор Михайлович писал, что заходил в гостиницу, но не застал Гуляева, сообщил также, что остановился у отставного майора на Фонтанке, 125.

Степан Иванович тотчас взял извозчика и отправился на Фонтанку.

Федор Михайлович был дома. Встретились дружески. Обнялись. И начались взаимные расспросы — что да как?

— А я вам, Федор Михайлович, хочу показать кое-какие записи об алтайском чиновничестве. Весьма любопытные есть факты. Лыщу надеждой себя, что вам они пригодятся.

Достоевский поблагодарил. И потом уже за чаем разговор продолжался о Сибири, которую печально познал Достоевский.

— Скажу однако: богатая сторона, но неухоженная, — заметил Федор Михайлович. — Но часа своего она еще дождетя. Непременно дождетя!..

* * *

А в Барнауле Гуляева ожидало приятное известие. Вольное экономическое общество в своем письме сообщало о награждении Степана Ивановича и его компаньонов серебряными медалями за прекрасные сорта табака гаванского, виргинского и порторико, выращенные в условиях Сибири.

В Барнаульской городской ратуше необычнолюдно и шумно. Здесь собрались жители города для вручения наград Вольного экономического общества отличившимся Степану Ивановичу и его последователям.

Степана Ивановича поздравляли, обещали полную поддержку его начинаниям. Число сторонников опытничества после этого заметно возросло.

Особенно радовался и ликовал Трофимыч, первый и самый рьяный помощник Гуляева. А Гуляев на торжестве по случаю вручения наград заявил, что можно в Сибири выращивать не только табак, но и яблоки.

После пожаров в Барнауле Гуляевы поселились на Иркутской улице. За окружным училищем находился дом семипалатинского купца Гаврилова. Купец решил продать дом. Многочисленной семье Гуляевых все труднее было арендовать квартиру, но нелегко, не имея сбережений, решиться и на покупку дома. И все же Степан Иванович решил раз и навсегда разрешить квартирный вопрос.

Не обошлось без долгов, но дом был куплен.

Радовалась ему вся семья.

Дом выглядел довольно внушительно. Одноэтажный, но с бельэтажом, глядевший окнами на заводской пруд.

— Ну все, Сашенька, теперь ты у нас полноправная хозяйка, — говорил Гуляев жене.

— Так-то оно так, — соглашалась

она. — Да только долги у нас с тобой немалые. Боюсь, что за год не расквитаемся со своими кредиторами.

— Ничего. Главное сделано. А кредиторы подождут. Да и ссудная у нас не на год, а на два. Расплатимся.

Степан Иванович помолчал и круто повернул разговор:

— Меня больше беспокоит Александр. Пора ему серьезным делом заниматься.

— Но каким?

— А что, если определить Александра в типографию?

— Да где ж она, типография-то, в Барнауле?

— Откроем.

— Да ты шутишь, поди?

— Нет, Сашенька, не шучу. Дело это нужное.

И хотя затея казалась почти неосуществимой, Гуляев нашел возможность, средства — и к осени типография была открыта. И старший сын Александр проявил себя с самой лучшей стороны, оказался весьма старательным человеком и новую профессию осваивал очень быстро. Правда, типография была крохотной — и со всеми операциями управлялся один человек. Когда у Степана Ивановича не была готова рукопись какой-либо статьи, Александр торопил отца: простаивать не хотелось без дела.

И Степан Иванович однажды высказал мысль Александре Филипповиче:

— А что, если брать заказы на типографские работы со стороны? Для Александра будет интереснее и разнообразнее работа, да и прибыльнее.

Типография, против ожиданий, быстро набирала силу. Заказы, особенно от барнаульских кушнов, поступали бесперебойно и во все больших количествах. К концу первого года работы типографии Александр заявил:

— Одному мне не справиться.

Нашлись два ученика, потом еще три. Дела в типографии шли успешно. Литографский каток, изобретенный Степаном Ивановичем, помог значительно сократить физические затраты рабочих и время, необходимое для производства нужного количества оттисков. Вместе с тем значительно уменьшались материальные затруднения Гуляевых.

Спустя некоторое время Гуляев сообщил в Обществе поощрения русской торговли и промышленности об изобретенном им литографском катке, дабы от этого была общая польза.

Предпринимательская деятельность претитла натуре Степана Ивановича. Вскоре он полностью передал в руки сына Александра типографию. А сам увлекся другими изысканиями.

Не успели Гуляевы определить Александра, как подросток другой сын, Николай. Юноша со спокойным характером не подавал больших надежд, и поэтому Степан Иванович обращал пристальное внимание на его воспитание. Случилось так, что Николая не было дома под новый год. Отец написал сыну письмо-поздравление:

«...трудись, ибо премудрость даром не дается человеку. Веди себя благородно и

честно, но не делай того, что запрещает тебе совесть. Поступай всегда так, как следует доброму юноше. Избегай всего оскорбляющего и унижающего человеческое достоинство».

Кроме двух сыновей, в доме Гуляевых на Иркутской улице было еще четверо детей — два мальчика и две девочки, в воспитании которых принимала участие не только Александра Филипповна, но и сам Степан Иванович, несмотря на свою постоянную занятость.

* * *

После крестьянской реформы тысяча восемьсот шестьдесят первого года обязанности томского губернатора и начальника Алтайского горного округа стали раздельными, и резиденция последнего находилась не в Томске, а в Барнауле. Бывший главный начальник Алтайского горного округа стал называться просто начальником. Нетрудно понять, что ограничение власти горного начальника преследовало одну цель — сосредоточение внимания на вопросах, касающихся развития горного дела. Не случайно, что бывший до этого горным начальником Алтайских заводов Фрезе становился ныне начальником Алтайского горного правления.

Такой реорганизации требовало истощение природных богатств Алтая и поддержание уровня выплавки золота и серебра хотя бы на уровне, существовавшем до этого.

Алтайское горное правление, приспособившаяся к нуждам пореформенного свободного рынка, начинает заниматься операциями, не свойственными ему ранее. — сдачей в аренду земельно-лесных угодий населению, золотonosных месторождений частным лицам и так далее.

Заводы, выплавлявшие серебро и золото до реформы, меняют производственный профиль, частично закрываются. Постепенно горное дело на Алтае затухало.

Разносторонняя деятельность Гуляева таким образом была обусловлена важными общественными изменениями в Алтайской вотчине русских царей.

Как-то осенью в Барнауле появился крестьянин деревни Новой Белокурихи, рудонискатель Иван Никитович Казанцев. Удача в поисках месторождений руд долго не давалась этому человеку. Казанцев бедствовал, занимал у односельчан хлеб и деньги, но не отступал от поисков. Он исколесил чуть не все предгорья Алтая вдоль и поперек. И все напрасно. Однажды, поздней осенью, Казанцев забрел далеко от дому в горы. Долго копался в каменистых распадках. Наконец, увидел в изломах камней признаки серебра. Только сейчас, когда удача, казалось, уже была в руках, Казанцев почувствовал несорбимую усталость во всем теле.

Насобирав горного валежника, развел костер и лег отдохнуть. Незаметно для себя заснул. Когда почувствовал, как холод сводит все тело, проснулся и не поверил своим глазам — выпал снег по колено. Поднявшийся ветер закручивал снежные

поронки. На ногах у Казанцева легкая летняя обувь. Долго добирался он до первой деревни. Пришел туда с обмороженными пальцами ног. Зато с желанными камнями. Целую зиму провалялся Казанцев, залечивая пальцы, а следующей осенью подался в Барнаул.

Не так просто оказалось взять пробы с принесенной руды в Барнаульской заводской лаборатории. Тогда Казанцев обратился к Степану Ивановичу, узнав про его сочувственное отношение к простым людям.

— Разрешите войти, ваше высокородие? — спросил Казанцев, переступая порог кабинета.

— Да, да! Входите.

По одежде, внешнему виду Степан Иванович сразу угадал, зачем пришел Казанцев.

— Слушаю вас, — как можно мягче и проще сказал он.

Казанцев не решался сразу сказать причину посещения, замаялся, нотом, поборов перешительность, заговорил:

— Я, ваше высокородие, из ново-белокурихинских крестьян, прискиваю руды в горах. Много лет искал и вот нашел, — Казанцев вытащил из кармана камень, в изломе которого поблескивала еле видимая пинточка. — Пришел к вам, ваше высокородие, за помощью. Окажите содействие, чтобы заводская лаборатория взяла пробу с найденных камней.

В лаборатории было свое правило: пробирщики делали вид, что им не велено делать такое, единственно для того, чтобы выколотить с заявителя взятку. В своем стремлении они проявляли завидную настойчивость, пока не добивались своего.

— Где находится такое месторождение, нет ли вблизи него признаков других металлов?

— Этак верст сто от Ново-Белокурихи в полуденную сторону, там, где протекает ключ Безымянный. Могу точно указать на местности. Мне неведомо о том — есть ли признаки других металлов. Не откажите, ваше высокородие, иначе труды мои даром пропадут.

— Труды не должны пропадать даром, — серьезно сказал Гуляев. — Я помогу взять пробы на серебро. Где остановились?

— Премного благодарен, ваше высокородие! А остановился я, можно сказать, — замаялся Казанцев. — Да это дело житейское.

— Вот что: пожалуйста ко мне. Места в моем доме хватит.

На другой день Степан Иванович сдал найденную Казанцевым руду на анализ. До получения анализа Казанцев жил радужными надеждами на удачу. И рассказывал Степану Ивановичу про все самое интересное, что встречалось ему на пути поисков руд.

В лаборатории сделали анализ. Руда, которую нашел Казанцев, оказалась крайне низкопробной и непригодной для проплавки. И хотя Степану Ивановичу не хотелось огорчать Казанцева, пришлось прямо сказать:

— Ну вот, теперь ты будешь знать, Иван Никитович, сколько содержит серебра

ра руда, отысканная тобой. Скажу откровенно: ничтожное количество.

Известие огорошило Казанцева. Он был твердо убежден, что находка вознаградит его упорный труд, наполненный лишениями. Вышло все наоборот. Убитый неудачей, Казанцев спросил Степана Ивановича:

— Как же теперь быть? Ума не приложу.

Степан Иванович, как мог, утешил неудачника.

— Не надо отчаиваться, Иван Никитович. Будет еще у тебя удача, я уверен в том.

Казанцев, по настоянию Степана Ивановича, еще оставался в Барнауле. В вечерние часы Степан Иванович расспрашивал Казанцева обо всем, что представляло для него интерес. Казанцев, как правило, отвечал на это довольно неопределенно и уклончиво:

— Оно, может, Степан Иванович, много интересного встречалось, только с нашим понятием всего-то не заметишь, не уразумеешь и не припомнишь. — Он подумал, помолчал и добавил: — Вот, скажем, в самой деревне нашей Ново-Белокурихе из-под земли бьют какие-то ключи, белым паром курятся, стало быть, теплые. Сказывают, целебные, но так или не так... кто их знает.

— А куда текут те ключи? Впадают ли они в какое-либо озеро или в речку? — заинтересовался Гуляев.

— Впадают ключи в озерко, что неподалеку от речки Белокурихи. Озерко то называется Змеиным, возле него — излюбленное место змей.

Степан Иванович узнал от Казанцева, что раньше, до возникновения деревни, на том месте находились малолодные пасеки, а к озеру приходили красавцы маралы и подолгу пили воду.

— Стало быть, вода в том озере была вкусной? — предположил Гуляев.

— Местные охотники устраивали засады за большой глыбой, на левом берегу речки. Чуткий и сторожкий зверь дорого расплачивался за эту водицу, — рассказывал Казанцев.

Степан Иванович воскликнул:

— Дорогой Иван Никитович, ты не представляешь, что горячие эти ключи могут оказаться ценнее любых твоих других находок! — И уже как бы про себя рассуждал: — Несомненно одно: белокурихинская вода содержит минеральные соли и потому привлекает к себе диких маралов и домашний скот. Прошу тебя, Иван Никитович, прислать мне при первой возможности этой воды в хорошо закупоренной посуде. Необходимо снять с нее анализы.

Степан Иванович горячо взялся за переписку о белокурихинских источниках. Достоверность сведений Казанцева подтвердили письмами бийский мировой посредник Мамонтов, священник села Ново-Тырышкино Ненарокомов.

Казанцев уехал в Ново-Белокуриху, и Степан Иванович с нетерпением ожидал от него посылки. Наконец, она пришла с одним крестьянином, приехавшим в Барнаул по своим надобностям.

Степан Иванович пригласил на апроба-

цию белокурихинских вод людей знающих, образованных: пробирщика заводской лаборатории, аптекаря, госпитального врача, медицинского инспектора Алтайского горного округа. Вечером в назначенный час собрались в доме Гуляева. Сидели за пустым столом. И постороннему взгляду могло это застолье показаться странным. Хозяин поставил перед каждым по фужеру, наполнил жидкостью из бутылки черного стекла.

— Прошу, господа!

Собравшиеся осторожно пригубили, медленно пили прозрачную воду. Молча что-то записывали на бумаге. Царила необыкновенная тишина, сосредоточенные вздохи.

Первым высказался госпитальный врач:

— Господа, должен сказать, что вода при прозрачном цвете имеет резко выраженный щелочной привкус.

— И содержит газы, которые резко ударяют в нос и выбивают слезу, — добавил аптекарь.

Степан Иванович выжидательно молчал, прятал улыбку в кончиках усов. Подтверждалось его предположение о целебности белокурихинской воды. Но каково было его удивление, когда присутствующие медики отнеслись к такому мнению довольно скептически. Госпитальный врач прямо сказал:

— Не следует слишком опростетчиво судить о свойствах воды. Необходим самый строгий анализ. Только тогда рекомендовать ее в качестве целебной.

— Но ведь свойства воды, отмеченные вами, как раз и свидетельствуют об их целебности.

— Это надо подтвердить авторитетно.

Когда ушли медики, Александра Филипповна спросила:

— Ну, что? Понравилась им белокурихинская вода?

— Конечно, Сашенька! Но важнее сейчас другое: необходимо доказать целебность белокурихинской воды официально. И развеять тем самым всякие сомнения...

* * *

Стояла жаркая засушливая пора. Дождей не было почти все лето. Некогда зеленые луговинки на берегу заводского пруда пожелтели.

Резко пал уровень воды в заводском пруду. Плавили руды на серебро лишь восемь печей, но и те временами действовали с перебоями. Не лучше дело обстояло и на других алтайских заводах.

Генерал Фрезе метался в поисках выхода из создавшегося положения. Найти выход оказались не в состоянии ведущие специалисты Алтайского горного правления.

Тогда Фрезе вспомнил о Степане Ивановиче Гуляеве: «Этот человек всюду преуспевает. Хотя он и не ахти какой высокий специалист в горном деле, но может подать полезную мысль». Пригласив Гуляева, генерал спросил:

— Вам известно, господин советник, бедственное положение барнаульского завода? Каково ваше мнение относительно увеличения запасов воды в пруду?

Степан Иванович подумал, что дела действительно плохи, если Фрезе обращается к нему за помощью.

— Выход простой: углубить дно.

— Но как это сделать? — спросил Фрезе.

— Сделать это можно зимой. Для того потребуются люди... Немало людей, ваше превосходительство.

Фрезе вздохнул:

— Боюсь, что это неосуществимо. Мне необходим выход сию минуту! А до зимы слишком далеко.

— Не вижу другого выхода, ваше превосходительство.

На том и расстались.

Степан Иванович вернулся от Фрезе с тяжелым чувством на душе. Но вскоре, вернувшись к заботам о белокурихинских водах, позабыл о разговоре с начальником округа. Надо было приложить все усилия, дабы заинтересовать научную и медицинскую общественность в практическом использовании белокурихинских источников. Степан Иванович послал статью, и вскоре она была опубликована в «Записках Русского географического общества» и в «Томских губернских ведомостях». В течение трех месяцев он написал множество писем в столичные научные общества, ученым. Академик Бэр обещал сообщить влиятельным лицам из Русского географического общества о свойствах белокурихинской воды и привлечь внимание к ней самого председателя барона Остен-Сакена.

Степан Иванович не стал дожидаться откликов на его предложения и продолжал пробивать брешь в стене холодного равнодушия свыше. Он написал большую и обстоятельную статью о щелочных, соленых, серных и железных источниках Алтайского горного округа и послал ее в Академию наук.

Однако дело не сдвинулось с места. В сухих и сдержанных ответах-откликах Степан Иванович уловил почти полное равнодушие и отсутствие интереса к его открытию.

Оставалось одно из двух: либо бросить затею с белокурихинскими ключами, либо предпринять практические шаги к освоению открытого месторождения минеральных вод.

Не имея лишних денег, Степан Иванович тем не менее решил оборудовать лечебницу.

Барнаульский чиновник Рекс, один из немногих разделявших увлечения Степана Ивановича, взял отпуск в летний месяц и согласился поехать в Ново-Белокуруху вместе с сыном Гуляева гимназистом Николаем-старшим.

Приехав на место, они начали строить неподалеку от источников из толстых плах вместительный сарай. Местные крестьяне, узнав, что затевают приезжие из Барнаула, сокрушенно качали головами и неодобрительно говорили:

— Чавой-то надумали строить господу из Барнаула? Видно, денег у них куры не клюют, коли так размахнулись!

Другие отзывались более лестно:

— Сарай-то ладный строят, без единой щелочки. Видать, скотину содержать будут.

Чуть не целое лето находились приез-

жие в Ново-Белокурухе. Когда сарай был готов, они объявили крестьянам об открытии лечебницы. Но лечиться никто не желал. Крестьяне даже стали подальше обходить это странное сооружение.

— Ну и олухи! Для них добра желаешь, а они нос в сторону воротят! — возмутился Николай.

И тогда Казанцев привел в лечебницу чуть не силой свою престарелую мать, страдавшую ревматизмом.

Больную начали лечить водами. И недели через три она почувствовала улучшение и даже оставила палочку, с которой пришла сюда. Новость тотчас облетела округу. И жители Ново-Белокурухи не переставали удивляться:

— Это же надо, бабка Аксинья, мать Ивана Казанцева, ходила с батажком, а теперь воца как резво бегаёт. Чудо да и только!

Другие все еще не верили:

— Куды там... от безделья господа мыкаются! Ентому емназисту куды ни шло по моложавости да по неразумению, а пожилому делу посурьезней выбрать надобно.

Что ни говорили белокурихинские крестьяне, а к сараю пролегла торная тропа. Слухи об излечении бабки Аксиньи сделали свое. В Белокуруху потянулись даже из окрестных деревень. Первая партия больных сыпями и золотухой успешно закончила курс лечения. Белокурихинские крестьяне почесали в затылках да и прикусили языки. Весть о барнаульских лекарях-чудотворах дошла до многих сел. Сарай уже не мог вместить всех желающих излечиться.

Вырос в глазах односельчан и Иван Казанцев. Теперь при встречах с ним крестьяне почтительно кланялись, зывали к себе в гости:

— Заходил бы, Никитич, в воскресенье, баба будет печь пироги. Отведал бы чайку с медом.

Степан Иванович ликовал: значит, его предположения подтвердились!

Предстояло подумать над расширением примитивной лечебницы. Степан Иванович одолжил кое у кого денег и на следующее лето взял отпуск, чтобы заняться устройством настоящей и первой на Алтае водолечебницы. Такое начинание нашло горячую поддержку со стороны бийского мирового посредника, некоторых ученых и врачей.

Вместе с профессором Калиновским, врачом Михайловским в этот раз приехал Степан Иванович в Ново-Белокуруху.

На сей раз крестьяне встречали приезжих без насмешек, приветливо, охотно оказывали помощь.

Устоявшую тишину деревни с утра до вечера нарушал бойкий перестук топоров и молотков, звон железа. Степан Иванович начинал строительство новой лечебницы на выходе источника на поверхность земли. Через несколько дней здесь появилось необычное сооружение — высокий деревянный чан-резервуар, прочно охваченный массивными железными обручами. В сарае стояла привезенная из Барнаула ванна темно-серого гранита, взятая в госпитале. Она сообщалась с резервуаром через железную трубу.

Крестьяне смотрели на диковинное и невиданное до сих пор сооружение с затаенным интересом. Медики все дни были заняты испытанием напора воды в трубе, многочисленными анализами. Когда испытания закончились, они приступили к составлению практического руководства по лечению золотухи, сыпей и ревматизма. Целебные свойства белокурихинских источников стали очевидными, к ним увеличился приток больных не только из близлежащих сел, но и из отдаленных городов Сибири и Дальнего Востока.

Барнаул явился своеобразным отделением Белокурихинской лечебницы. Казанцев оказался деятельным человеком, часто присылал бочонки с водой. Степан Иванович успешно лечил горожан от многих болезней. Барнаульские медики, боясь за собственный престиж, отзывались о Степане Ивановиче не лестно: «Не в свои сани запрягся человек».

Степан Иванович между тем принял ходатайствовать перед Министерством здравоохранения о необходимости более широкого использования белокурихинских источников. Он сообщил дополнительные сведения о вновь обнаруженных тридцати минеральных источниках в Алтайском горном округе.

Больше года длилось томительное ожидание. Пришлось убедиться, что не всех интересовало открытие белокурихинских минеральных источников. Наконец, Министерство здравоохранения ответило, что не может принять предложения Гуляева, так как не имеет средств для освоения минеральных источников.

Степан Иванович безвозмездно передал свой пай в белокурихинских сооружениях Ивану Казанцеву, надеясь, что тот не подведет его и сохранит начатое полезное предприятие до лучших времен хотя бы в первоначальном его виде и объеме.

Позднее Степан Иванович заинтересовал в этом деле известного в России бальнеолога доктора Вебера, издателя листка «Русские минеральные воды». Но дальше сочувствия дело не шло. Только спустя длительное время, когда Гуляева уже не было в живых, Белокуриха превратилась в известную здравницу России.

* * *

Плавильные заводы на Алтае с времен своего основания работали на древесном угле, который выжигали крестьяне в лесах. Так продолжалось до второй половины девятнадцатого века, до тех пор, пока Гурьевский железодельный завод не перешел на использование каменного угля.

Все заводские печи — плавильные, обжигальные, кузнечные горны — требовали ежегодно сотни тысяч кубических сажений древесного угля. Все дальше отступали от рудников и заводов вековые дремучие леса. Особенно страдало от вырубок правобережье реки Оби вблизи Барнаула. Уникальный ленточный бор, тянувшийся от Барнаула до Семипалатинска, шадил топор лесорубов. Зато на правобережье Оби ему не было пощады. Под топором валились вековые сосны, красавицы березы.

Оголенные от леса берега реки двигались, как живые. Река петляла по новым неизведанным руслам, расчленилась на рукава, замыкалась в мертвых непроточных старицах.

Начальство Алтайских заводов замечало исчезновение лесов и давало обстоятельное объяснение в официальном описании каменноугольных месторождений такому факту.

Этот документ сообщал для сведения следующее: «... малое железное производство и обширность лесов — главные причины, почему при настоящей промышленности древесный уголь предпочитается каменному».

Нелепость такого утверждения вполне бесспорна. Царские слуги на Алтае уничтожали леса единственно из-за того, что не хотели утруждать себя более дорогостоящей и трудоемкой добычей каменного угля.

Степан Иванович со всей страстью выступил в защиту лесных богатств. Он убеждал Алтайское горное правление в бесспорных преимуществах каменного угля перед древесным в горнозаводской промышленности. Путем переписки он кропотливо собирал многочисленные данные о новых месторождениях, по его выражению, «этого полезного во всех отношении минерала».

Настойчивость Гуляева раздражала Алтайское горное правление. В одном сообщении он писал об открытии месторождений высококачественного антрацита по реке Аягузу в пятидесяти верстах от Сергиополя и в ста двадцати от Семипалатинска.

Однако Алтайское горное правление отвергло мысль об исследовании новых месторождений.

«Видно, и затею с каменным углем ожидает та же участь, что и с белокурихинскими минеральными источниками», — с грустью подумал Гуляев. Было отчего задуматься — пока ни одно его предложение безоговорочно не было принято горным начальством. Но Гуляев не падал духом.

* * *

Декабрьским днем Степан Иванович зашел на Барнаульский почтамт для оформления посылки в Русское географическое общество. Как и во всяком присутственном месте, на почтамте сдержанный людской говор, сквозь который порой выделялся бойкий перестук почтовых штемпелей.

В просторной и несколько вытянутой комнате, у высокой дощатой перегородки с крохотными подслеповатыми окнами толкались десятка два посетителей.

Степан Иванович, входя, заметил почтмейстера, который разговаривал с каким-то мужчиной в дубленой шубе просторного покроя. Спинку шубы грязно-белого цвета украшали заплатки самых разнообразных форм и размеров.

Почтмейстер явно был чем-то недоволен и грубо выговаривал своему собеседнику:

— Как тебе не стыдно? Знаешь ли ты, грех телачий, что без медвежьей шкуры в почтовых разъездах никак не обойтись!

Когда ты, наконец, выполнишь мой заказ?

Человек переминался с ноги на ногу в целовком замешательстве, виновато моргал глазами, сдержанно гудел в свое оправдание.

— Зять болен, ваше высокородие! Одному мне не под силу такой заказ выполнить. Шкура медвежья требует силы, чтобы отмять ее... Этак дни через три отомнем... мягка станет, что замша или бархат.

Почтмейстер резко хлопнул дверью, а собеседник его направился шаткой походкой к оконцу. Лицо у него болезненно усталое, взгляд воспаленных от переутомления глаз рассеянный и безразличный.

Степан Иванович с какой-то затаенной надеждой спросил человека, как можно мягче и проще:

— Вы никак мастер-скорняк?

Человек почему-то виновато и растерянно улыбнулся, пространно и несколько путанно ответил:

— Мы-то с зятем робим... можем выделывать бараньи, волчьи, медвежьи и иные шкуры... шубы также шьем, всякие: простые и борчатые... тулупы, полушубки, меховые рукавицы тоже... ежели нужда в чем есть, забегайте, в Ивановском логу живу, что от улицы Большой Олонский вверх убегает, поблизости от церкви Знамения господня... Лапина Семена спросите. Меня все там знают.

Лапин по-смешному окал и заикался от волнения, а может, после почтмейстерского разноса не мог еще прийти в себя.

Степан Иванович, стараясь вывести из под недавнего воздействия почтмейстера, сказал:

— Прошу извинить, но я не имею свободного времени. Не можете ли вы у меня на дому выделать медвежью шкуру для починки дорожного одеяла? Я живу на Иркутской улице. Спросите Гуляева.

— Гуляева? — оживился Лапин. — Дак о вас я много наслышан. Когда прикажете приходиться?

— Прошу, если можете, в следующее воскресенье.

Лапин пришел к Степану Ивановичу в воскресный день после завтрака. Заказ выполнял старательно, и мастер он, видно по всему, был неплохой.

Степан Иванович из разговоров с Лапиным узнал, что он из здешних мест, крестьянин Владимирской губернии Вязниковского уезда Прудовской волости. Переехал в поисках счастья на Алтай без гроша в кармане и поэтому не мог получить приемного приговора на пользование землей ни в каком сельском обществе и вынужден поселиться в Барнауле. Здесь он решил заняться знакомым ему в России ремеслом — выделкой овчин и шитьем из них шуб. Дела у Лапина шли туго. Заработанного еле еле хватало на содержание многочисленной семьи из шести ртов — болезненной жены и четырех ребят.

Старшая дочь Лапина вышла замуж, но молодожены не пошли в раздел. Глава семьи вздохнул: вроде чуть полегче стало — зять оказался единственным и неплохим помощником.

— Дело наше никудышное, полушубок плохо идет в продажу, потому как овчины

не можем красить, — жаловался Лапин своему заказчику. — Вон шадринские да романовские полушубки, что выработываются в Шадринске да Казани ценой намного выше наших, а покупаются охотнее. Оттого, что черные.

Степан Иванович как-то сразу проникся к Лапину уважением и доверием. Быть может, бесконечные неудачи в жизни Лапина явились причиной такого уважения.

— А сами вы не делали попыток красить овчины? Какие красители применяли? — спросил Степан Иванович.

— Пытался, Степан Иванович, и не раз окрасить овчины в черный цвет, только ничего, кроме убытку, не получалось. Перепробовал много красок, да, видно, нет у меня на то талану.

Однажды Лапин услышал от кого-то, что дубленая овчина при обработке ляписом приобретает приятный и черный с отливом цвет. Решил попробовать. Ляпис стоил довольно дорого и отпускался из аптеки по специальным разрешениям полиции. Начались настойчивые до унижений просьбы, ходатайства. И перед настойчивостью незадачливого шубника не устояла даже полиция. Ляпис был получен.

— Начал я смачивать ляписом овчины. Вижу — цвет получается густой и черный, душа моя возрадовалась. Только недолгой была моя радость. Опять ничего не получилось. Овчины от ляписа погорели окончательно, тряхнешь ее — рассыпается. И руки вон пожег, — вытянул он ладони, показывая Гуляеву.

Степан Иванович еще раньше заметил на них белые круглые ятна с багрово-синими рубцами по краям, но из деликатности не спросил, что это за ожоги. Теперь все стало понятным.

Степан Иванович под впечатлением рассказанного долго молчал и думал про себя: «Вот так и случаются в жизни открытия простых людей, порой не доступные науке. Через лишения, полные отчаяния и безысходности...»

Через несколько дней Лапин закончил выделку медвежьей шкуры и трех телячьих выворотков. Степан Иванович, удивленный, что так скоро Лапин справился с работой, сказал:

— Быстро справился, Семен! Не как у почтмейстера?

— А ну его! Он не заплатил мне до сих пор за прошлогодний заказ. Как аукнется, так и откликнется, Степан Иванович.

— Да, это так, — согласился Степан Иванович и, подумав немного, сказал: — А хочешь, Семен, я помогу тебе найти краску для овчин?

— Это почему же не хотеть? Да я вам, Степан Иванович, век буду за это благодарный! Но где вы ее найдете?

— То дело мое, Семен. Раз сказал помогу — значит, так и будет, — загадочно ответил Гуляев.

* * *

Весна была дружной. Сошли снега. Появилась первая зелень, а вместе с нею и неизменная городская пыль. Спешно приехали в порядок проезжие и непроезжие

участки города. Подновлялись фасады кабинетских и купеческих зданий. Даже бытовые дворы под метелку были очищены от многолетних залежей грязи и всевозможного хлама.

Отцы города готовились к встрече великого князя. Готовились дорогие подарки. Суэта перед встречей захватила и увлекла не только отцов города, но многих чиновников, купцов и обывателей. Хотелось попасть на глаза великому князю, сыскать его внимание, продвинуться по служебной лестнице либо поправить свои материальные дела.

Степан Иванович, оставаясь в стороне от общей суеты, продолжал применять многие минеральные и химические краски во всевозможных смесях с реагентами и все безуспешно. Но в поисках красителя он совершенно случайно обнаружил заменитель дорогостоящего чернильного орешка. Однажды он съел несколько чилимных орехов, что растут на луговых озерах, и тотчас обратил внимание на то, что кожа его имеет вязущий вкус, напоминающий вкус чернильного орешка... Надо было проверить догадку. Степан Иванович отварил в горшке чилимную кору, распарил ее в русской печи, а затем этот раствор смешал с раствором железного купороса. Образовавшийся состав черной жидкости для окраски овчины, однако, не годился. Зато чернила получились прекрасными.

Но поиски шубного красителя не прекращались. И упорство Гуляева было вознаграждено.

Отвар ивовой коры он смешал с раствором хромово-кислого калия — получилась устойчивая черная краска, цвет которой становился гуще при замене ивового отвара сандаловым. Краска устойчиво окрашивала овчину, но сильно пачкала. Нужно было найти правильную пропорцию смесителей. Наконец, после многих проб необходимая пропорция была достигнута. На этот раз краска получилась чернее осенней ночи и такая стойкая, что не смывалась с рук ни мыльной горячей водой, ни крепким щелоком.

— Нашел! Кажется, нашел! — еще не веря в удачу, радостно воскликнул Степан Иванович. И в тот же день отправился к шубнику Лапину. Тот на радостях чуть не пустился в пляс.

— Степан Иванович, неужто?

— Давай, давай, пробуй, — как бы привел его в чувство Гуляев. — Надо проверить на деле. А потом, если что, дак и спляшем, куда ни шло...

Лапин приготовил все необходимое, взял овчину, встряхнул и осторожно, медленно стал покрывать раствором. Степан Иванович видел, как с лица Лапина не сходило выражение строгой торжественности.

И вдруг лицо его озарила победная улыбка, он громко и радостно воскликнул:

— А ведь получается! Смотрите.

В полуподвале, где размещалась мастерская Лапина, свершилось действительно чудо. Через несколько минут овчина высохла и приняла цвет нежного черного бархата. Успех был полным. Выкрашенную овчину Лапин мочил в воде, потом сушил. Она не меняла окраски и не колела, то есть не

лопалась, как бы ее ни перегибали и ни мяли.

Степана Ивановича поздравляли с новым способом окраски овчины. Письма с поздравлениями шли со всех уголков Сибири. Весть об открытии перешагнула границы Сибири. Овчинные шубы-барнаулки получили широкую известность. Вместе с потоками поздравлений Степану Ивановичу приходили просьбы о высылке черных барнаульских шуб. Томская губернаторша Аделаида Родзянко, получив три овчинные, окрашенные по способу Гуляева, была в восторге. «Эта совершенная прелесть может иметь громадное применение. Позвольте вас поздравить с таким блестящим результатом», — писала она изобретателю.

А Степан Иванович продолжал работать над способом удешевления знаменитых шуб-барнаулок. Он предложил Лапину заменить дорогие вышивные украшения по подолу шуб цветным и более дешевым литографским тиснением.

Открытие Степана Ивановича принесло Барнаулу славу центра овчинно-шубной промышленности Сибири. Через год овчинные, окрашенные по способу Гуляева, получили высокую оценку комиссии по устройству Всероссийской выставки и «Общества поощрения русской промышленности и торговли». И действительно овчины выдержали самые придирчивые испытания.

И все-таки Степан Иванович, верный принципам справедливости, признавал преимущество романовских овчин перед барнаульскими качеством волны, или меха. В письмах к влиятельным лицам он утверждал, что такое преимущество потеряется, если заняться разведением на Алтае тонкорунного овцеводства, улучшением местных пород овец.

Между тем Лапин быстро шагал в гору. Его «барнаулки» пользовались большим спросом на общероссийском рынке, весьма успешно конкурируя с шадринскими и романовскими шубами.

* * *

Дочь Степана Ивановича Елизавета вышла замуж за Словоцова, сына известного историка Сибири, и вскоре переехала в Омск. Степан Иванович завязал переписку с зятем, который оказался на редкость любознательным человеком.

А из Петербурга друзья писали о том, что присланная Степаном Ивановичем нельма понравилась всем, особенно немецким ученым: Бремю, Финту, Цейлю и Шиферу. И шутливо добавляли: потому и решил Брем совершить поездку на Алтай. Так что жди гостя!

Брем приехал в Западную Сибирь во главе зоологической экспедиции. Маршрут экспедиции предусматривал продолжительную остановку в Барнауле и знакомство с достопримечательностями музея, а также с коллекциями любителей исследования Алтая.

Брем плохо знал русский язык, Степан Иванович не лучше — немецкий. С приездом в Барнаул Брем познакомился со Степаном Ивановичем очно. Первая встреча прошла довольно любопытно: каждый из

знакомившихся говорил не на родном, а на чужом для него языке. Неудобные выражения и недомолвки постепенно исчезали, вырабатывался своеобразный язык общения.

Потом встречи проходили попеременно то в доме Степана Ивановича, то в музее, где больше всего времени проводил Брем. Беседы касались больше всего животного мира, археологических находок.

Особый интерес Брема вызвал рассказ Степана Ивановича об убитых на Алтае тиграх. Брем что-то записал в тетради и сказал:

— Этого не может быть! Но я вам верю.

Брема поражали разносторонние знания Степана Ивановича, его увлеченность.

Впоследствии многие советы Гуляева Брем успешно использовал при написании своего обстоятельного труда «Путешествие в Западную Сибирь».

* * *

Несмотря на свои немолодые годы, Степан Иванович, как и прежде, всегда записывал былины и песни, сказы и заговоры, пословицы и поговорки, созданные народом. Он полагал, что может получить много полезного из устного народного творчества, если обратит взор к Колывани.

Известно, что там, на реке Белой, был основан еще Демидовым первый медеплавильный завод на Алтае, но из-за маловодья речки был перенесен поближе к Колыванскому озеру. Громадная горнозаводская округа на Алтае стала называться Колывано-Воскресенской.

Степан Иванович думал получить из Колывани образцы первозданного устного народного творчества, потому и затеял переписку с мастером Колыванской шлифовальной фабрики Стрижковым, сыном знаменитого художника-камнереза Филиппа Стрижкова. Колыванская шлифовальная фабрика существовала с тысяча восемьсот второго года вместо закрытого медеплавильного завода.

Стрижков охотно выполнил просьбу Степана Ивановича и начал записывать песни.

Но каково было удивление собирателя песен, когда на пути к тому встретились непреодолимые трудности — крестьяне Колывани и ее окрестностей почти не поют. В письме к Степану Ивановичу Стрижков сообщил: «... веселых людей здесь нет».

Действительно, поэзия потомственных горнорабочих не отличалась ни богатством красок, ни тонов. Степан Иванович знал о том.

Но желание познакомиться с песнями, бытовавшими среди горнозаводского населения Алтая, властно владело им. Сообщение Стрижкова явилось полной неожиданностью. Во всяком случае тетрадка с песнями, записанными Стрижковым в Колывани, как нельзя лучше проливал свет на мрачное прошлое горнозаводских работников Алтая.

Степан Иванович давно и хорошо знал барнаульского мещанина Монсея Тренихина. Чем только не приходилось заниматься

в жизни ему!.. Торговал мясом, рубил лес, катал валенки, ловил рыбу, засеивал пашню. Но полнее всего раскрылась душа Тренихина, когда он торговал зеленью или мясом. Здесь ему не было равных. Голос Тренихина выделялся среди рыночных торговцев-завывал:

— Продаю, мотаю, сам в Москву уезжаю!

— Не купишь товар у купца — не видать тебе молодца!

— Только вам товар по дешевке продам!

— Товар возьмите — хозяина удивите!

Для каждого покупателя у Тренихина имелся свой присказ, поэтому подвыпившие после изнурительной работы мастеровые, пропахшие кухней стряпухи со сдержанными улыбками бросали Тренихину разменную медь и уходили, довольные покупкой.

К концу дня успешно поторговавший Тренихин садился на извозчика и ехал к трактиру. Тут он угощал не только друзей, но и каждого встречного, хвалившего купеческий талант Тренихина. Но как успешно он шел торг Тренихина, при всем этом он не мог пробиться в гильдию.

Степан Иванович заинтересовался неудачником-балагуром. Почему-то подумалось, что у таких людей, как Тренихин, должен быть несбывшийся талант. Как-то однажды, уже познакомившись с Тренихиным, Степан Иванович заговорил с ним:

— Откуда у тебя, Влас Петрович, такие прибаутки, что никто тебя мимо не пройдет, не купив товар?

— Э-э, Степан Иванович, не с этой ноты начали песню, — сказал в ответ Тренихин. — Какие там присказки, когда из этой головы все путнее ветром выносит! Ежели желаете послушать присказки да сказки, так только у старика Тупицына. Тот-то уж их знает множество! Да так рассказывает, что слезу вышибает из глаз. Тот за тридевять земель в тридесятом государстве бывал, меды царские пивал. Вот он какой тот Тупицын! Золотой человек!

Тренихин завел речь о семидесятидвухлетнем крестьянине деревни Ересной Леонтии Гавриловиче Тупицыне, человеке интересной судьбы. Степан Иванович страстно жаждал встречи и знакомства с Тупицыным.

Леонтий Тупицын приехал в Барнаул на базар с березовыми дровами, сетями, мордушками и другими рыболовными снастями. Степан Иванович находился там и услышал голос Тренихина, обращавшегося к нему:

— Степан Иванович, пожалуйте сюда, вот вам и Леонтий Тупицын, знакомьтесь.

Тупицын подал руку, не снимая рукавиц-голиц, будто давно знал Степана Ивановича.

— Знакомьтесь — не чай пить и не дрова рубить! Здравсте — вот и знакомство.

— Здравствуйте, Леонтий Гаврилович! Рад видеть вас. Жаль мне сейчас не досуг, заезжайте ко мне, как кончится ваш торг! На Иркутскую улицу, дом стоит на солнечной стороне, на углу Первого Прудского переулка. Спросите Гуляева Степана Ивановича.

— Заеду, как рано управлюсь с прода-

жей. А коли не управлюсь, то не обессудьте, — сказал с достоинством Тупицын, не оставляя у Степана Ивановича надежд на встречу.

Ударил лютые крещенские морозы. Мелкая колючая изморозь висела в воздухе. Степан Иванович вернулся со службы домой раньше обычного, спросил у жены:

— Никто не спрашивал меня?

Не успела ответить Александра Филипповна, как вот он и гость на пороге:

— Можно ли гостю незнакомому войти в покои?

В дверях кухни показалась знакомая по рынку фигура Тупицына, в армяке из домотканого коричневого сукна, одетом поверх полушубка, от которого исходил крепкий морозный дух.

— Знакомся, Сашенька, — представил гостя Гуляев, — Леонтий Гаврилович Тупицын, знаменитый сказитель.

— Ну, вы уж прямо и знаменитым меня именуєте. Не надо так-то, Степан Иванович. Поближе к земле ладбно.

Леонтий был слеп. Это заметил на рынке Степан Иванович по тому, как Леонтий неуверенно шагал вдоль воза. Но не спросил о том ни у Тренихина, ни у самого Тупицына. Глаза у Тупицына, слегка помутневшие, смотрели, как у зрячего, прямо и открыто.

Они хорошо ощущали свет яркого солнца и пламени горящей свечи, но не различали очертаний окружающих предметов.

— Как же вы нашли дорогу к нам? — спросил удивленный Степан Иванович.

— Свет не без добрых людей. Я приехал на рынок не один, а с зятем, он довез меня, а сам уехал домой.

Степан Иванович помог Тупицыну раздеться, провел в гостиную.

— Как я рад вашему приезду, дорогой Леонтий Гаврилович! Вся моя семья ожидает вас.

В гостиной и вправду собрались все домочадцы. Когда гость вошел, его приветствовал старший сын Александр краткими словами:

— Многих лет жизни нашему дорогому гостю Леонтию Гавриловичу! Просим к столу, — и тотчас, подойдя к Тупицыну, взял его под руку и усадил на самое почетное место.

Тупицын, видимо, не ожидавший столь внимательного приема, смешался и не знал, как ответить на такую открытость и душевность хозяев. Наконец, не выдержав, Тупицын сказал веселым голосом:

— За что вы меня встречаете, как Ивана-царевича, вернувшегося из дальнего похода с победой над супротивником?

Как и всегда в доме Гуляевых за чашкой чая завязались самые неожиданные беседы.

Александра Филипповна пожаловалась на трескучие морозы. Леонтий успокоил ее:

— Скоро, матушка, конец придет морозам. Есть такая верная примета в жизни: деревья в куржаке или изморози стоят, тронешь рукой, куржак наземь песком осыплется — значит, помпай, как мороз звали!

— Говорят, весной будет большое наводнение, а урожай на полях — отменный,

потому как снега выпали очень глубокие, — выказал свою осведомленность Александр.

На что Леонтий ответил:

— Не-е! Не будет нынче большого наводнения и урожая тоже. Прошлая осень была пыльная и сухая. Снег, стал быть, лег на сухую землю.

Больше всех расспрашивал Тупицына Степан Иванович и узнал из ответов, что прадед Леонтия Лазарь вышел откуда-то с реки Ишима, вскоре после прихода Демидова на Алтай, и поселился на месте Ерсеной у подошвы крутого косогора. Жили тогда в землянках, промышляли рыбой, работали на Барнаульском заводе.

— Помню, что дед Иван прожил восемьдесят, отец за семьдесят лет и умер. Оба они знали много преданий, песен и былили. А дед мой к тому же был свадебным дружкой и знахарем. Песни пел браво, потому и не обходилась без него ни одна свадьба. Отец мой Гавриил тоже все время пел песни. Бывало, нарядят его на Ямышевские и Боровские озера на соляные промыслы, а он поет-заливается! Веселит, значит, подневольный люд. За то, бывало, казацы урядники да и казаки дозволяли ему нагребать без платы по три воза соли. В нашем роду занимались песнями, былинами да сказами, как видно, начиная с прадеда Лазаря.

— А сами, Леонтий Гаврилович, вы поете песни, рассказываете сказы и былины?

— А как же, случалось и не однажды! Пел после смерти отца и до этого.

Поведал Леонтий слушателям, что он овдовел к сорока годам. От первой жены осталось три сына и три дочери, которые живут самостоятельно, в разделе, да от второй жены у него четыре сына и две дочери.

Леонтий Тупицын—рыбак. Делал лодки-долбленки из ветловых деревьев, телеги, вил веревки, вязал сети.

Но с уменьшением семьи, с отделением сыновей, хозяйство его расстраивалось, приходило в упадок. Особенно это стало хорошо заметно, когда с ним приключилось два несчастья.

Однажды поехал Леонтий за реку Обь за сеном на саях-дровнях. Неведомо как в ногу вонзилась сосновая заноза, из которых городили заездки для верш. Леонтий сгоряча обломил занозу, после того нога не давала ходить нормально, рана не заживала. Пришлось ходить на костылях. А потом на другой стороне ноги против раны образовался нарыв и показался конец занозы. Леонтий вытащил ее, рана закрылась, но нога осталась согнувшейся. Ходил после этого Леонтий, будто готовился к прыжку, — становился на кончики пальцев, не касаясь земли всей ступней.

А тут почти рядом вторая беда. Вечером Леонтий возвращался от двоюродного брата Ивана Тупицына, у которого обсуждали предстоящую рыбалку. Вечер выдался на редкость тихий и безмятежный. Леонтий уже предвкушал хорошую рыбалку. Но в переулке с косогора неожиданно налетел ветер, наисе тучи пыли, отчего у Леонтия затряслись веки и потемнело в глазах. Сколько потом ни обращался он к медикам, те беспомощно разводили руками

и говорили мало утешительное: «Такое бывает, батенька, ничего не поделаешь».

Ослепнув, Леонтий не бросал активно работать. Он не мог, как прежде, долбить лодки, заниматься рыбалкой, но выдалбливал корыта, сеяльницы, почевки, или лотки для калачей, делал деревянные вилы, грабли, прял на самопряхе, которую сделал сам, вил веревки, вязал сети.

Однажды жена Леонтия скроила зипун, решив, что сошьет его, как позволит время. А когда хватилась, зипун уже был сшит.

— Неужто сам спроворил? — удивленно спросила у мужа.

— То-то и есть, что сам, — ответил не без гордости Леонтий. И делал он всякую работу, казалось бы, подчас и зрячему непосильную.

* * *

Наутро Степа Иванovich, как и всегда, поднялся с постели ни свет, ни заря. И удивился немало, увидев Леонтия, спавшего не в кровати, где постелила ему Александра Филипповна, а на широкой и жесткой кухонной лавке.

— Леонтий Гаврилович, зачем же вы не в кровати спите? Обижаете хозяев такой выходкой.

— Не пристало, Степа Иванovich, мне отвыкать от лежанки-то, — ответил гость. — Привышней мне так-то.

Утром Леонтий за чаем вел себя, как и вечером: отказывался от белых калачей и сахару, попросив ржаного хлеба, который сдобрил подсолнечным маслом, густо посыпал солью и съел все это с большой охотой.

Настала пора прощаться с Леонтием. Вошел сын Александр, одетый по-дорожному, весело сказал:

— Крытые сани готовы к отъезду.

Леонтий уезжал, оставив у хозяев приятное впечатление своей простотой и общительностью.

— Приезжайте еще, Леонтий Гаврилович! — приглашал Степа Иванovich.

— Обязательно приеду, — обещал Тупицын. — Как выпадет путь, тогда и навещу вас.

* * *

Помимо того, что Степа Иванovich поддерживал письменную связь с отдельными официальными лицами, учеными по вопросам просвещения, развития культуры, он и сам выступал поборником просвещения и приобщения сибиряков к культуре.

Единственный клуб в Барнауле являлся увеселительным заведением для привилегированных горожан — чиновников и купцов. Собирались здесь преимущественно по субботам, делились рецептами приготовления редких блюд, чуждили-рядили о поведении отдельных лиц в городе и тому подобное. Одним словом, клуб занимался не тем, чем следует. Нечто подобное просветительскому клубу создал у себя на квартире Степа Иванovich. Сюда люди приходили не для увеселений, а послушать интересные беседы по вопросам практиче-

ской жизни, а также по многим отраслям науки и принять участие в самодеятельных спектаклях, в исполнении русских песен.

Нередко из гуляевского клуба люди пополняли сцену профессиональную, актерскую.

«Нужно распространять всяческим образом здравые знания в низших классах народа», — писал и говорил друзьям Степа Иванovich.

Пропаганду всесторонних знаний, пробуждение самодеятельной инициативы населения Барнаула и Алтайского горного округа Степа Иванovich решил поставить на более широкую ногу. С этой целью он открыл в Барнауле на свои скромные средства первую публичную библиотеку с читальней.

В дополнение к этому требовалось проведение при читальном зале различных бесед и лекций на всевозможные темы. Оказалось необходимым обратиться за разрешением к томскому губернатору. От имени передовой барнаульской интеллигенции Степа Иванovich обратился с письменной просьбой за разрешением проведения научных бесед и громких чтений при библиотеке. Этому мероприятию мыслилось придать строго общественный характер. Для будущих посетителей устанавливался взнос в месяц — тридцать копеек. Неимущие совершенно освобождались от платы и проходили на чтения по специальным билетам.

Степа Иванovich говорил: «Пусть чтения проходят по разрешенной программе, но они, безусловно, расширяют кругозор и знания горожан — ведь девяносто пять процентов из них находятся во власти полного невежества и являются неграмотными».

И, действительно, большая часть барнаульцев имела представление о науке гораздо меньшее, чем, предположим, о прелестях рая и муках ада.

Мероприятия, проводимые Степаном Иванovichем, расширяли кругозор барнаульцев и, что самое главное, пробуждали у них интерес и тягу к поиску и просвещению.

В числе слушателей преимущественно была молодежь, но приходили люди и пожилые. Часто беседником и чтецом выступал сам Степа Иванovich. Слушали его с большим интересом.

Деньги, собранные в виде взносов, шли на поощрение занятий наукой простых людей. Степа Иванovich сообщал Архангельскому губернскому комитету о том, что в его адрес высланы деньги, собранные с читателей барнаульской библиотеки, в фонд стипендий отлично успевающим, но бедным гимназистам.

Степа Иванovich всегда действовал решительно, иногда с материальным ущербом для себя, когда речь шла о распространении просвещения и научных знаний. В кругах чиновников его иначе не называли, как одержимым. Барнаульский почтмейстер, к этому времени хорошо знавший Степана Иванovichа, как-то упрекнул его в излишних хлопотах.

— Чего это вы, Степа Иванovich, все некетесь о чужих нуждах? Хоть вы и освобождены от уплаты почтовых за пересыл-

ку, тем не менее сама посылка чего-то да стоит! Ох, и одержимый вы человек!

Почтмейстер частично был прав. Только одна посылка минералогической коллекции стоила Гуляеву почти пятнадцать рублей, а всего их было послано несколько десятков в разные адреса. Но кто может подсчитать цену и пользу, которую они несут в себе, эти посылки!

Человек, увлеченный в жизни постоянными делами и не имеющий свободной минуты, меньше всего подвержен размышлениям о временном характере его земного бытия. Кажется такому человеку, что у него много незавершенных дел и тех, к которым он еще должен приложить ум и руки. Так и у Степана Ивановича не оставалось времени на те увлечения, которые бы не имели отношений к благополучию людей. В поле его зрения всегда стоял человек с его нуждами и чаяниями.

Однажды Степана Ивановича взволновали живописные работы молодой девушки Зменногорского рудника. Семья горнорабочих Черепановых и в мыслях не допускала, что их дочь могла стать художницей.

Степан Иванович подметил у нее особое дарование, но дарование еще не развитое.

Родители девушки не имели материального достатка и не могли послать ее на учебу.

Тогда Степан Иванович вызвался оказывать девушке всяческое содействие, насколько позволяли собственные материальные возможности: снабдил ее красками и инструментом, показал основные приемы в рисовании.

Девушка приезжала в Барнаул, подолгу останавливалась в доме Гуляевых и вскоре была здесь как родная.

Все это делалось совершенно бескорыстно со стороны Степана Ивановича, с единственной целью — открыть заветную дорогу к искусству и образованию талантливой девушке.

Талант Черепановой не погиб, она стала профессиональной художницей. И в этом была немалая заслуга Гуляева.

* * *

Еще в ходе переписки по поводу открытия первого университета в Сибири Степан Иванович решительно выступал против голого академизма в обучении.

Настала пора открыть и в Барнауле первую гимназию. Единственное среднее учебное заведение в городе, горное училище, теперь окружное, с упадком горной промышленности теряло свое прежнее значение.

Еще во время первой поездки в столицу с караваном серебра Степан Иванович поставил перед влиятельными лицами вопрос, давно мучивший передовую часть барнаульской интеллигенции. Бесконечные хлопоты Степана Ивановича, казалось кое-что обещали положительное. Во всяком случае в Петербурге его заверили, что гимназия в Барнауле обязательно будет действовать на базе существующего окружного училища. Не верить тому было нельзя.

С приездом Степана Ивановича в Барнаул туда пришли утвержденные штаты, съехались учителя гимназии, но сама она так и не была открыта при жизни Гуляева.

Как-то, работая в своей библиотеке, Степан Иванович обнаружил в числе исторических материалов указ от тридцать первого мая тысяча семьсот восемьдесят шестого года, данный во исполнение двух предшествующих царских повелений генерал-фельдмаршалом графу Румянцеву-Задунайскому и князю Потемкину и наместническим правлениям о наряде лошадей по станциям, лежащим по дороге из Петербурга в Малороссию. Царское путешествие началось в январе тысяча семьсот восемьдесят седьмого года.

Путь пролегал по Новой Порховской дороге через города Смоленск, Новгород-Северский, Чернигов, Киев, а затем по Днепру до Нового Кайдана, где назначено быть губернскому городу Екатерinosлаву, затем в Херсон, в область Таврическую и обратно через Черкасск, Бахмут, Изюм, Харьков, Курск, Орел, Тулу, Москву.

Царское путешествие только от Петербурга до Киева должно обслуживать семьдесят шесть почтовых станций. На каждой из них держалось наготове для царской особы пятьсот пятьдесят лошадей, а на весь путь от Петербурга до Киева было занято сорок одна тысяча восемьсот лошадей!

Степан Иванович, пораженный роскошью, с которой ехала Екатерина Вторая, невольно подумал: «Сколько можно было бы открыть гимназий, университетов, если бы обратить эти средства на нужды народного просвещения!» О том он написал редактору «Исторического вестника» Сергею Шубинскому, куда раньше послал статью «Некоторые эпизоды из пугачевщины», и просил прислать десять типографских оттисков статьи.

Степан Иванович при этом ощутил, насколько малы масштабы его трудной работы и с каким упорством приходится продвигать всякое начинание.

* * *

Кончились крещенские морозы, и на дворе, по выражению Александры Филипповны, помягчело.

Нежданно-негаданно приехал на Иркутскую улицу Леонтий Тупицын. Навез в подарок чуть не целый воз разного изделия: корытец, сеяльниц, лотков для калачей и даже самопяху. Все это не без торжественности вручил Александре Филипповне, приговаривая:

— Вам, матушка, все пригодится! Не прогневайте старика, не откажите принять!

Подоспел со службы Степан Иванович, расцеловал Леонтия как родного брата, которого не видел целую вечность. Начались расспросы. Степан Иванович совсем без задней мысли спросил Тупицына:

— Надолго ли пожаловали к нам, дорогой Леонтий Гаврилович?

— Хошь осуждайте, хошь нет, а на целую неделю приполз!

— Вот это хорошо! Теперь будет время послушать вас.

Степан Иванович на другой же день сообщил о том любителям русской народной поэзии в Барнауле. Тотчас потянулись они в дом на Иркутской улице. Теперь здесь сталолюдно, даже тесно. Слушали Тупицына, затаив дыхание, стараясь не пропустить ни одного слова.

Обычно Леонтий садился за стол, вытягивая перед собой руки, уставив незрячие глаза в одну точку.

И как только начинал рассказывать былины или петь песни, тотчас преображался. Неподвижного взгляда как не бывало. Выражение лица постоянно менялось. Рассказывал Леонтий негромким, но задушевым голосом, сопровождая рассказ убедительными жестами. И скоро полностью овладевал вниманием слушателей.

Тупицын начинал петь плясовые песни. То и дело в такт песни он притопывал ногой:

Ах ты, девица-красавица моя,
Черноброва, черноглаза, хороша,
Что походочка-то бассинькая,
Поговорка-речь хорошенькая!
Я доселева хорошая была,
Таперича худа стала и бледна,
Что худа, бледна, не годна никуда,
Иссушил меня детина красотой,
Чернобровый, черноглазый...

Лица присутствующих невольно растягивались в улыбках, царила обстановка непринужденного веселья. Большинство из них — сибиряки, вспоминали молодые годы, и каждый уносился в те далекие годы. Потом кто-нибудь просил:

— А ну еще что-нибудь веселепкое, Леонтий Гаврилович.

Тупицын не заставлял себя долго упрямиться и тотчас начинал другую песню, чем вызывал восторг слушателей.

Вдоль по улице метелица метет,
За метелицей старой старик идет,
Он на посохе-тз ключики несет,
Сам ключами принабрякивает!
Увидела красна девка,
Испугалася старого старика...
— Я нейду, нейду за старого замуж,
Я пойду, пойду за ровнюшку свою...

Получали совершенно новое звучание в устах Тупицына, возвышенное и почти артистическое, образы любимых народных героев — богатырей Ильи Муромца, Добрыни Никитича и других. Былины Тупицын рассказывал с глубокой проникновенностью, с верой во все то, что говорилось в них, с выражением на лице чувства внутреннего удовлетворения.

— Настоящий поэт! — говорили друг другу слушатели, собравшись у Степана Ивановича, полушепотом, чтобы не отвлекать Тупицына.

Он знал многие былины о скорбном прошлом Алтая, когда простые труженики горнозаводских предприятий, мастеровые и приписные крестьяне, задавленные крепостнической кабалой, не теряли поэтического чувства. Тупицын пел о том, как влюбленный паренек спрашивает красну девку: одного ли она его «сушит-крушит». А красна девица отвечает:

Ты отстань-ка, милый, по охоте,
Не отстанешь по охоте,
Отстань, милый, по неволе...
Что сегодняшней темной ночью,
Хотят нас с тобой поймати,
Белы рученьки и резы ноженьки
Хотят нам с тобой сквати,
Во Змеевскую да во сторонушку
Хотят нас с тобой сослати...

Змеиногорский рудник на Алтае вплоть до отмены крепостного права в России являлся местом ссылки на каторжные работы. Там, в потайных лабиринтах, жизнь человека ставилась ни во что, быстро таяла, как сальная свеча при дуновении ветра.

Исчезала пара влюбленных молодых людей, а перед глазами слушателей шла длинная вереница труженников со скорбным выражением на лицах, усталой походкой, измученных непосильной работой, и навсегда исчезала в черных глубоких колодцах Змеиногорского рудника.

Тупицын умолкал, чтобы через минуту-другую начать другую былинку, которых память его хранила великое множество.

— А теперь, господа хорошие, послушайте былинку про разудалого донского казака Степана свет-Тимофеевича, буйну голову.

Видно, Тупицын любил рассказывать про Степана Разина. Голос его крепчал, глубже прорезали лоб и щеки морщины.

На тихом Дону, во Черкасском городе,
Народился удалой, добрый молодец,
По имени Степан Разин Тимофеевич.
Во казачий круг Степанушка не хаживал,
С казаками он дум не думывал,
Ходил, гулял Степанушка во царев кабак,
Он думал крепку думушку с голытьбой...

Тупицын делал паузу, глубоко вздыхал и продолжал рассказ.

Степана Тимофеевича,
По прозвищу Стеньку Разина...
Поймали добра молодца,
Завязали руки белые,
Повезли во каменну Москву,
И на славной Красной площади
Отрубили буйну голову...

Вслед за Тупицыным вздыхали слушатели, пораженные талантом сказителя. Присутствовавшие женщины, не таясь, протирали платками повлажневшие глаза, потихоньку шмыгали носами.

Степан Иванович являлся исключением из среды слушателей. Он вместе с сыном Николаем-старшим, служившим в почтовом ведомстве, старался точно записать услышанное из уст Тупицына.

Через Степана Ивановича стало известно о Тупицыне в Петербурге. Им заинтересовался этнографический отдел Русского географического общества.

Он запросил через Степана Ивановича о высылке подробной биографии, фотографии Тупицына и, самое главное, записи былин и песен, которые он знал.

Один большой любитель фотографии, горный инженер, по просьбе Степана Ивановича, согласился съездить в деревню

Ересную. Тупицына сфотографировали поющим песни, одетым в зипун поверх овчинного полушубка.

Сложнее было с песнями и быльями, хорошо знакомыми Тупицыну. Знал он их очень много. Степан Иванович, хотя и записал их все, но отослал в Петербург менее известным, не встречавшимся ранее, такие, как «Побывальщину, записанную в Барнауле» и «Два калмыцких стихотворения».

Русское географическое общество получило вместе с ними подробную биографию и фотопортрет Тупицына и выразило за это Степану Ивановичу глубокую благодарность.

— Вот, Леонтий Гаврилович, получил за ваши знания были, песен и сказов благодарности из Петербурга, — сказал Гуляев. — Она и ваша, Леонтий Гаврилович, эта благодарность.

— А что правда, Степан Иванович, говорят, что в Петербурге из этих благодарностей одежду шьют? — улыбнулся Тупицын.

— Благодарности даются за труды, Леонтий Гаврилович.

В этот раз Тупицына провожали из Барнаула многие любители устной народной поэзии, в дар преподнесли ему чайные чашки с блюдами.

Когда Тупицыну сказали, что чашки фарфоровые, а на них нарисованы сцены из сказок, он с удовлетворением отметил: — Такое как раз по мне!..

Степан Иванович с благодарностью пожал руку Тупицыну.

— Ожидайте, Леонтий Гаврилович, меня в гости.

— Милости просим, Степан Иванович.

После этой встречи Степан Иванович во многом расширил и обогатил свои «Этнографические очерки Южной Сибири».

Так сказитель стал соавтором Гуляева.

* * *

Алтай привлекал многих ученых слабой изученностью. Через Алтай пролегли пути научных экспедиций в Китай, Монголию, степи Казахстана, Среднюю Азию. Ученые и члены этих экспедиций часто останавливались в доме Гуляевых, называя этот дом своеобразной штаб-квартирой.

Помимо радушного приема здесь они получали полезные, практические советы, из разговоров с хозяином узнавали про то, что их интересовало, ради чего предпринимались экспедиции.

Помимо того, что Степан Иванович сделал сам или побудил то сделать других на пользу родного края, его можно считать незримым членом многих экспедиций.

Для археологических и геологических исследований на Алтае в Барнаул приехала научная экспедиция, возглавляемая французским ученым-доктором Менье.

Очное знакомство с Менье прошло в доме Степана Ивановича. До того оба они были достаточно наслышаны друг о друге, поэтому при первой же встрече разговор принял непринужденный и деловой характер.

Менье в первую очередь попытался выяснить пункты маршрута экспедиции.

— Считаю необходимым обратить ваше внимание на Тигирецкий и Змеиногорский рудники, побывать там, а также исследовать пещеры на реке Иле и близ деревни Чагира. В геологическом отношении два указанных рудника имеют большой интерес. В пещерах же на реке Иле необходимо произвести раскопки. Там наверняка найдете стоянки первобытного человека, орудия, которыми он пользовался.

Менье, несколько удивленный категоричностью сообщений Степана Ивановича, спросил:

— Почему вы полагаете, что именно в этих пещерах может быть обнаружено то, что интересует нас?

— Пещеры те хорошо защищены от проникновения дождя и ветра, очень удобны для защиты от врагов первобытного человека. К тому же в них уже находили сломанные копья и наконечники стрел. Правда, их никто еще не раскапывал. Но я уверен, что раз имеются копья и наконечники стрел, обязательно должны быть человеческие погребения.

— Скажите, Степан Иванович, вы давно бывали в этих пещерах?

— Нет, не бывал, не выпадал случай по службе.

— Как? Совсем не были? — удивился Менье.

— Совсем, — улыбнулся Гуляев. — Но пусть вас это не смущает. Пещеры эти я знаю хорошо.

— А что может быть интересного в двух рудниках, куда вы рекомендуете поехать нам? — спросил Менье.

— Убедиться в примечательности, хотя бы Змеиногорского рудника, нетрудно, раскопок никаких производить не требуется. Скажу одно: змеиногорские руды своеобразные, в них самородные металлы залегают необычным порядком — не в виде жил, а гнездами.

— Спасибо, Степан Иванович. Это очень важно для нас. Скажите, а чем вы сейчас интересуетесь?

Степан Иванович рассказал, что его волнует все: и поиск практически выгодных для человека знаний, и производства устной народной поэзии, и чисто научные вопросы, и многое другое.

— Но для осуществления всего, чем вы заняты, требуется не одна жизнь! — воскликнул Менье, пораженный таким размахом деятельности Гуляева.

— Очень даже просто. Где не могу сам получить необходимые сведения, помогают корреспонденты. У меня их очень много! Я же возглавляю «золотой стол».

Менье с удивлением смотрел на Гуляева. Он впервые видел перед собой столь упорного труженика, информатора науки, который сам дерзал в ней и привлекал к тому других людей, быть может, не всегда осведомленных, но оказывающих ей неоценимую услугу.

Больше года потратила экспедиция Менье на исследования и археологические раскопки. Менье возвращался в Барнаул, полный впечатлений и с множеством собранных материалов. Зашел к Степану Ива-

новичу, чтобы еще раз его поблагодарить.

Стоял сентябрь. В разгаре солнечное бабье лето. В воздухе плыли космы паутины, по-осеннему пели желтогрудые синицы. В прощальную пору с летом Степан Иванович испытывал неодолимое желание к перемене места, к поиску.

Как-то Степан Иванович, беседуя с Менье, высказал мысль:

— А что, господин Мельс, если я подкажу вам еще одно занятие на Алтае. Это почти рядом с Барнаулом. Верстах в восемнадцати от него находится деревня Гоньба. Так вот по дороге в нее есть курганы. Надобно бы их раскопать...

Менье раскапывал недели две курганы и нашел в них много интересного: костяные наконечники стрел и различные железные предметы.

— Честное слово, Степан Иванович, что ни ваше слово, то у меня успех в археологических раскопках! Впервые встречаю такого удачливого человека. Не возражаете, когда вернусь на родину, напишу о вас большую паучью статью?

Степан Иванович спрятал загадочную, инкем еще не распознанную улыбку в кончиках усов и ничего не ответил.

Менье спрашивал со Степаном Ивановичем и уехал по делам экспедиции в Томск, пробыл там месяца три. На обратном пути в Барнаул, простудился, слег в постель. Степан Иванович все свободное время не отходил от больного. Единственное средство от простудной болезни, имевшееся в распоряжении барнаульских медиков — банки, не приносили облегчения больному.

Менье метался в горячечном бреду. С каждым днем силы его таяли. И в марте месяце, когда наступили теплые дни, его не стало.

Степан Иванович принял все хлопоты по похоронам на себя. Выбрал место для могилы на высоком крутояре кладбища — так, чтобы отсюда был виден город, раскинувшийся внизу.

Грустной была эта весна.

* * *

Одиннадцать лет работал в Барнаульском окружном училище преподавателем немецкого языка Радлов. Помимо своей основной работы, Радлов увлекался исследованиями в области языков тюрко-монгольского происхождения.

Он неоднократно бывал с экспедициями в Горном Алтае, Средней Азии, Казахстане, Монголии. Везде молодой ученый внес большой вклад в изучение тюрко-монгольских и китайских языков.

Степан Иванович сообщал в Русское географическое общество: «Из других лиц, занимающихся географическими, статистическими и этнографическими работами, я позволю себе указать на учителя Барнаульского окружного училища доктора философии Радлова».

Такое писал Степан Иванович о Радлове, имея полные основания. Радлов не явился исключением из путешественников и исследователей, побывавших на Алтае и

испытывших радушие, гостеприимство и помощь Степана Ивановича.

— Алтайский язык относится к тюркским, Степан Иванович. Но это хорошо известно, а вот к какой группе? — спросил как-то Радлов.

Степан Иванович ответил довольно просто:

— Думаю, Василий Васильевич, вы разгадаете группу, когда изучите алтайский язык на месте во всем разнообразии его говоров.

Позже, когда Радлов последовал этому совету, выяснилось без особого труда группа киргизско-кыпчакская, к которой относился алтайский язык.

Степан Иванович обладал на редкость ценным даром — подмечать в человеке одаренность в самом начальном состоянии, потом эта одаренность развивалась и приводила к широкой известности в науке. Так случилось и с Радловым. Востоковед-тюрколог, этнограф, переводчик, за четыре года до смерти Степана Ивановича он стал известным ученым, членом Петербургской Академии наук. Уже после смерти Степана Ивановича Радлов одновременно с датским ученым Вильгельмом Томсеном расшифровал знаменитые орхоно-енисейские надписи.

Ученые всех степеней и рангов, пользовавшиеся покровительством или просто бывшие знакомыми Степану Ивановичу, не упускали случая поблагодарить его за подсказки и советы, которые он им давал.

При жизни Степана Ивановича в Китай и Монголию отправилась экспедиция Сосновского. В Барнауле, у Степана Ивановича, жил ученый-переводчик экспедиции Андриевский. Нет надобности говорить о благодарности переводчика за русское гостеприимство Степана Ивановича. Несколькими позже Андриевский информировал Степана Ивановича о значительных находках экспедиции, многих памятников письменности, археологических редкостей, предметах материальной культуры древних народов, населявших Китай и Монголию.

Степан Иванович не прекращал до последних дней жизни работы по акклиматизации растений на Алтае. На своем приусадебном участке он добился успехов в выращивании кендыря, который возделывали в среднеазиатских климатических условиях. Кендырь, как известно, дает крепкую пеньку белого цвета. В письме к своему зятю в Омск он давал ему практический совет: «...Не лишним считаю посоветовать: если будете делать посевы кендыря в Омске, то мешайте семена с несколько влажным песком, иначе они по легкости своей разлетятся, хорошо прибавлять к земле толченого кирпича, потому что почва, на которой растет кендырь в диком состоянии, глинисто-мергельная, и кирпич на этот раз может заменить мергель».

Научные общества Петербурга и других городов познакомились с отдельными представителями алтайской флоры через Степана Ивановича. Он посылал в разные времена своим адресатам семена горного лука, белого алтайского шиповника, пихты, красителя серпухи, лекарственного расте-

ния душиanky, лука-слезуна, а также ветки облепихи с рецептом-упоминанием приготовления из ценного лекарственного вещества облепихового масла.

Степан Иванович в эти годы информировал научную общественность о природных богатствах родного края и смежных с ним районов многочисленными статьями, как например: «Врачебные средства Сибири», «Длинношерстные овцы на Алтае», «Соленое озеро Карабаш».

Годы проходили, а Степан Иванович оставался прежним, неумным искателем, популяризатором науки.

Степан Иванович не успокаивался на достигнутом в проведении опытов по выращиванию инородных для края растений, а стремился доказать возможность возделывания южных культур на Алтае. Так, он просил в письме «Кавказское общество сельских хозяев» о высылке семян американского, египетского и туземного хлопка для проведения опытов по его выращиванию в Южной Сибири и в Семиреченском крае.

Приехал в Барнаул инженер Салдинского завода и показал Степану Ивановичу образцы тонкого листового железа. Степан Иванович сразу же оценил достоинства нового сорта железа. Он предлагал его как заменитель кожи при обивке ямских кибиток, а также внутренностей различных мастерских, где требуется защита от огня. Предсказывал самое широкое применение железа в безлесных районах. Степан Иванович указывал пути защиты от коррозии листового железа, предлагал покрывать его смесью разогретой смолы и вара. Или олифой, где она не слишком дорогая.

Степан Иванович просил одну из томских фирм о присылке ему листового железа. Он писал: «Сообщая вам мое предложение, нужным считаю сообщить, что я не занимаюсь коммерческими предприятиями, лично им не заинтересован, но в видах общей пользы желаю от души, чтобы оно осуществилось».

Так уж повелось у Степана Ивановича, что прежде всего он заботился о благе своего народа. Большой бесребреник, он таким остался на всю свою довольно продолжительную жизнь.

* * *

Однажды Степан Иванович написал письмо своему зятю И. Я. Словцову, в котором не без гордости сообщал: «Радуюсь, что к нам переселяются толковые ремесленники». В письме Степан Иванович имел в виду переселившегося в Барнаул ремесленника Березина, который занялся выделкой соломенных шляп. Степан Иванович, проходя как-то по рынку, обратил внимание на грубые соломенные и плохо отбеленные шляпы.

— Почем за штуку берете? — спросил он.

— Сколь не жалко, хороший господин, — ответил продавец и пожаловался: — Не идут в продажу шляпы, прямо наказание.

Степан Иванович нашел способ хорошо отбеливать солому и делать ее гибкой. Теперь барнаульские соломенные шляпы

стали пользоваться спросом не только на Алтае, в Барнауле, но и в других городах Сибири.

Дело у пензенского переселенца Березина пошло так же быстро, как когда-то у шубника Лапина. Степан Иванович, как и в первый раз, оказался бескорыстным человеком и выгоды от этого никакой не имел.

Впрочем Степана Ивановича не сокрушали материальные недостатки. Раздражали упреки чиновников, снисходительное сострадание к нему со стороны людей имущих.

В письме к зятю Словцову он жаловался: «Не знаю, что мне делать? Было три билета внутреннего займа и те заложены. Любезная супруга настаивает, чтобы продал дом... предлагать подобные советы легко, но как их исполнять. Да и дом-то стоит восемьсот рублей, не больше».

Меня укоряют, что я сижу за камушками... они хотят отнять у меня то удовольствие, которое составляет потребность моей натуры, они желали бы, чтобы я, попав в чиновничью колею, погрузился бы в ней, как улитка в раковину... забавно бы Вам слышать от кого-нибудь укоризны за то, что Вы занимаетесь кроме службь разными науками, да без чего жизнь человека мыслящего была бы тягостью».

«Они», благополучные чиновники, высмеивали своего коллегу за честное отношение к службе, за то, что он занимался недоступными для их понятия научными изысканиями. Для них было непонятным, как заведующий «золотым столом» не мог обеспечить себя на старость всем необходимым, когда имелась такие возможности! Степан Иванович не имел за душой и ста рублей. Его честность подвергалась испытанию еще один раз.

В Барнаул приехал золотопромышленник, в прошлом воспользовавшийся любезной помощью Степана Ивановича, благодаря которой и стал весьма богатым человеком. Теперь он узнал о денежных затруднениях своего бывшего «покровителя» и тотчас поспешил на выручку. Золотопромышленник как-то зашел к Гуляеву и предложил ему деньги—сумму немалую. И был удивлен категорическим отказом.

— Но как же так... Степан Иванович? Вы в таком незавидном положении... нет, нет, так не пойдет! — настаивал гость.

— Да кто вам сказал, что я нуждаюсь? — спросил Степан Иванович. Это вовсе не так. Вот взгляните. — При этих словах Степан Иванович подошел к книжной полке, достал объемистый том узаконений Российской империи, раскрыл его, и гость увидел меж страниц закладку—трехрублевую бумажку. — Это когда-то шубник Лапин ссудил мне, — усмехнулся Гуляев. — За мои хлопоты по добыче нужного для него красителя... Сумма, конечно, в отличие от вашей мизерная, но суть от этого не меняется...

Гость смутился, спрятал деньги и быстро раскланялся.

* * *

Видно, самый могучий организм бессилен противостоять разрушительному дей-

ствию старости. Так думал и удивлялся своим мыслям Степан Иванович. Замечал он наступление старости и по тому, что чаще и тщательнее ворошил прошлое.

Степан Иванович, чтобы уйти от этого, с еще большей энергией принимался за дело, не терпевшее отлагательства. Но сил хватило не на многое...

В небольшом саду на Иркутской улице этой весной цвели, благоухали яблони, липы, черемуха, кендырь. В бело-розовой кипени жужжали пчелы. «Хороший будет нынче взяток», — подумал Гуляев. Он вернулся сегодня со службы раньше обычного, что-то нездоровилось. А дома его ожидали приехавшие из Омска зять с дочерью Елизаветой. Степан Иванович обрадовался не сказанно и на какое-то время позабыл даже о своих недугах.

Общих тем для разговора у них с зятем было немало, и они в этот вечер, уединившись, отвели, как говорят, душу.

Словцов был человеком близким не только по родству, но и по интересам.

Утром Степан Иванович проснулся с сильными болями в груди. Александра Филипповна хотела послать за доктором.

— Пока не надо, Сашенька! — воспротивился Степан Иванович. — Займусь пока разборкой писем. Может, отпустит.

У Степана Ивановича скопилось несколько тысяч сохранившихся писем от научных обществ и ученых, в том числе от Брэма, Потанина, Ядринцева, Семейского, Срезневского, Буша, Бера, Радлова и многих сотен других корреспондентов.

Из писем, как на ладони, вставала жизнь, длительная, интересная, полная постоянных трудов.

Степан Иванович систематизировал письма по фамилиям, раскладывая их стопками. И стопки эти росли на столе, множились...

«Измаил Иванович Срезневский... так... так... пятьсот шестьдесят восемь писем». Стараясь воскресить в памяти их содержание, Степан Иванович быстро читал некоторые из них. Выплывало далекое время, когда был он еще молод, полон сил и надежд — и жизнь казалась бесконечной.

Дольше других Степан Иванович задержался на переписке с разными лицами о первооткрывателе белокурихинских минеральных вод Семене Казанцеве. Семена Казанцева уже нет в живых, а искра, брошенная им, постепенно разгорается...

Перед глазами проходит ладная фигура преуспевающего Семена Лапина. Степан Иванович думает: «Пусть Лапин не совсем

порядочным человеком оказался, но дело, которое помог он свершить, весьма нужное и нынче и в будущем...»

Вдруг мысль обрывается. И Степан Иванович чувствует, как страшная боль пронзает его насквозь. Он вскрикивает. Когда переполошившийся Словцов привел доктора, Степан Иванович пришел уже в себя. Но слабость испытывал невероятную, голова кружилась и поднялся он с трудом. Доктор выслушал его и сказал:

— У вас, батенька мой, отек легких. Где это вы умудрились так простыть? — И прописал на грудь ставить банки.

На короткое время Степан Иванович почувствовал облегчение. А тут еще радостное известие — письмо из Русского географического общества. Вице-председатель общества Семенов просил Гуляева принять участие в предстоящей крупной работе этнографического отделения общества. Семенов писал по этому поводу: «...Со своей стороны я позволю себе присоединить мой голос к просьбе отделения к Вам, многоуважаемый Степан Иванович, с выражением надежды, что Вы, один из старейших членов-сотрудников общества, не откажете помочь отделению Вашими драгоценными материалами. Примите уверение в совершенном моем уважении и преданности».

Письмо ему показали с умыслом — добрая весть может помочь побороть недуг. Однако заслуженный и бескорыстный труженик науки, чья деятельность отмечена печатью исключительной скромности, не смог принять предложения Русского географического общества.

Болезнь быстро прогрессировала. И к концу дня Гуляева не стало.

Через два дня на похороны Степана Ивановича пришли многие барнаульцы, съехались друзья и из близлежащих городов и сел.

Словцов сказал на могиле слова, с которыми внутренне согласились все, кто близко знал Гуляева:

— Не каждому дано такое, чем обладал в жизни Степан Иванович: честность и бескорытность, открытая благожелательность к людям, увлеченность в поиске всего неизвестного...

На могиле Степана Ивановича воздвигли массивный четырехугольный памятник, над которым возвышался каменный глобус, а внизу надгробия — раскрытая каменная книга с высеченными на ней словами: «Тот достаточно потрудился, кто честно искал истину».

Николай ПАВЛОВ

ЛИСТКИ ВОСПОМИНАНИЙ

ПЯТИДЕСЯТЫЕ ГОДЫ

1

Память человеческая несовершенна. Обычно она удерживает главные факты. Непосредственные впечатления, чувствования, настроения утрачиваются, если они не зафиксированы на бумаге.

В нижних ящиках моего письменного стола теснятся папки со старыми блокнотами, тронутыми желтизной и серостью, тетрадками, просто отдельными листками, исписанными торопливо, бегло — не сразу расшифруешь. Тут же вырезки из газет, брошюры, программы. Среди них увесистый том «Второй Всесоюзный съезд советских писателей. Стенографический отчет».

Иногда я просматриваю эти материалы, ставшие заметками истории.

У нас в крае сейчас нет делегатов Первого Всесоюзного съезда писателей, пятидесятилетие которого недавно отмечала вся страна. (Припомним, кстати, что участниками съезда были Павел Кучияк и Афанасий Коптелов.)

Мальчишкой в августе 1934 года я слушал по радио голос А. М. Горького, делавшего доклад на том съезде. Слушал, затаив дыхание: это Горький говорит... Великий человек.

Я слушал также отрывки из речей Юрия Олеси, Леонида Соболева, Вениамина Каверина. Тогда мне было пятнадцать лет.

Через два десятилетия на мою долю выпала огромная честь — быть делегатом Второго съезда от Алтая.

Перелистав папки с пожелтевшими листами, перечитав бумаги, я понял, что не имею права снова запретить их в ящиках, похоронить там. Они — не только мое личное достояние, но и общественное.

Сибирь была представлена на съезде еще нешироко: от Новосибирской писательской организации приехали Афанасий Коптелов, Александр Смердов, Елизавета Стюарт; от Иркутской — Георгий Марков, Иван Молчанов (Сибирский), Гавриил Кунгуров; от Красноярской — Сергей Сартаков; от Читинской — Василий Иванов; только я один от Алтайской.

Собственно, организационно писательская организация в крае тогда находилась в стадии становления. В союз писателей первым был принят Иван Фролов. Стихи

Ивана Ефимовича печатались в Барнауле, в Новосибирске, в Москве. Его стихи «О самых простых и скромных», его кулундинские циклы («Край родной», «Шестакое поле» и др.) были замечены и отмечены такими мастерами, как А. Т. Твардовский, А. А. Сурков, М. В. Исаковский. К сожалению, болезнь мешала этому талантливому человеку активно работать. Предполагалось, что на съезд поедет Иван Фролов, но недомогание помешало этому, и выбор пал на меня.

У меня к этому времени сложились тесные и теплые отношения с работниками редакции журнала «Сибирские огни» С. Е. Кожевниковым, А. Л. Коптеловым, Б. К. Рясенцевым. Журнал опубликовал мои рассказы, повесть «Горячее лето», роман «Конструкторы».

Одним из организаторов, руководителей и активных авторов альманаха «Алтай» был Марк Юдаевич. Он писал стихи, басни, очерки. В 1951 году опубликовал повесть в стихах «Ползунов».

Николай Дворцов делал успехи в жанре детских рассказов и повестей. Детской тематике отданы первые книжки Николая Чебаевского. Сельский учитель Иван Шумилов, участник Великой Отечественной войны, писал фронтовые и партизанские рассказы. В Горно-Алтайске жили и работали Александр Демченко, Константин Козлов.

Перед отъездом в Москву меня пригласил секретарь крайкома партии. Он сказал, что у некоторых руководителей писательского союза есть намерение «прикрыть» альманахи. Он указал, что наш край вступил в целинную эпопею на степных просторах. — Да и в промышленности — тоже, — добавил он. — Вон какой рывок делают машиностроение, химия, текстиль! Вы, инженер, понимаете... Надо отстаивать наш альманах.

Я обещал, хотя в душе испытывал смятение: вряд ли мне дадут слово на таком грандиозном форуме, который собирается через два десятилетия после первого.

...И разумом, и сердцем постигались новые ритмы жизни, на селе, и в городе: я был депутатом Алтайского краевого Совета по Промышленному избирательному округу Барнаула.

2

Пасмурный, даже мгlistый московский день 15 декабря 1954 года.

Открытие съезда назначено на четыре часа, а делегаты поодиночке и группами идут через Спасские ворота, начиная с трех, чтобы посмотреть наш древний Кремль, многие годы оставшийся недоступным посетителям.

Я первый раз в Кремле. Ощущение пасмурности дня исчезает. Величественны белостенные златоглавые соборы. Над Большим кремлевским дворцом реет красный государственный флаг. Тогда Дворца Съездов еще не было.

Мы поднимаемся по ковровой лестнице к Залу заседаний. С любопытством оглядываюсь по сторонам. Узнаю знакомых по портретам маститых писателей. Тут и там виднеются яркие своеобразные национальные костюмы: сразу чувствуется, что литература у нас многонациональная.

...Это исторический зал. Здесь не однажды выступал Ленин.

Торжественная минута!

Ровно в шестнадцать часов К. А. Федин проводил под руку к трибуне старейшую писательницу Ольгу Дмитриевну Форш для произнесения вступительного слова перед открытием съезда. Это было просто и элегантно.

Я сидел довольно далеко, но все видел, слышал и ощущал отлично.

Несмотря на восьмидесятилетний возраст, Ольга Дмитриевна говорила ясно, четко, проникновенно. Очевидно, что ей не требовалась поддержка К. А. Федина, когда она шла к трибуне, однако светлая и добрая сцена для всех была приятна. Историческими романами Форш «Одеты камнем», «Михайловский замок», «Радищев» зачитывалось мое поколение.

Об А. М. Горьком она сказала:

«Основоположник советской литературы, многообразно и самозабвенно отдававший ей все свои силы, он был первым председателем нашего Союза, он открыл в 1934 году Первый съезд советских писателей...»

За двадцатилетний промежуток времени между Первым съездом и сегодняшним днем наш народ совершил великое множество героических дел».

И закончила краткую речь словами:

«Наш долг: помнить, что наша советская литература — передовой отряд литераторов всего мира в их борьбе за мир, за демократию, против войны и угнетения человека человеком». Затем, по поручению старейшин, объявила Второй Всесоюзный съезд советских писателей открытым и передала слово в порядке ведения первого заседания К. А. Федину.

Эти несколько минут значили для меня (думается, и для всех) многое: торжественность сочеталась с непринужденной простотой и деловитостью.

По поручению ЦК КПСС текст приветствия съезду огласил секретарь Центрального Комитета, академик П. Н. Поспелов. В заключительной части приветствия указывалось:

«Постоянной заботой Союза должна

быть забота о том, чтобы наши писатели всегда жили жизнью народа, его интересами и чаяниями, были активными участниками созидания коммунистического общества, видели и знали наших современников, реальных героев — строителей коммунизма».

В тот же вечер А. А. Сурков сделал трехчасовой доклад «О состоянии и задачах советской литературы». В нем содержался прежде всего большой объем информации. Не десятки, а многие сотни имен писателей — русских, украинских, казахских, белорусских, грузинских, латышских, татарских, якутских, тувинских... — были названы в докладе.

Два десятилетия, пролегли между Первым и Вторым съездами, вобрали в себя огромный труд народа, трагедии и грозы, неслыханные военные жертвы и суровое торжество Победы.

В номере гостиницы я долго не гасил свет: писал, писал... Хотелось ухватить и выделить главные впечатления.

Торжество. Праздник.

Нет, праздников было меньше: больше было деловых буден.

В одной из своих статей А. М. Горький, обращаясь к трудовому человеку, писал: «Товарищ! Знай и верь, что ты — самый необходимый человек на земле».

В то время я страдал над очерком о людях индустриального труда. Образы получались однобокими. Странно: почему мои сверстники, мои коллеги в жизни щедры мыслями, богаты эмоциями, а в очерках беднеют и бледнеют?

Надо научиться выразительности. А руководства нет. Когда-то я штудировал «Литературную учебу», учрежденную Горьким. Полезно, но мало!

...В портфеле рядом с неоконченным очерком — конструкторские и экономические расчеты. Мне как конструктору Барнаульского котельного завода поручено побывать в отделе энергетики Госплана СССР и в Главкотлотурбопроме Минтяжмаша. Мы в Барнауле проектируем новые паровые котлы для электростанций. И уже, кстати, не среднего, а высокого давления.

Торжество? Праздник?

У инженеров праздники не чаще, чем у литераторов. Есть солидные учебники по котлоагрегатам. Выходят специальные журналы. Они изучаются. Но этого мало... Что сложнее: написать добротный очерк либо спроектировать новый с головы до пят котельный агрегат?

В первую ночь я спал беспокойно. Сон теснили мысли. Сон теснили взволнованные чувства.

3

Заседания с 16 до 26 декабря проводились в Колонном зале Дома Союзов. Упомяну, что Первый съезд проходил тут же. По продолжительности они были примерно одинаковы.

Характерны параллели, которые проводились между съездами. Подчеркивалась жизненность горьковских традиций...

Председатель мандатной комиссии Л. В. Никулин доложил, что на съезд из-

брано 738 делегатов, из них с решающим голосом — 626, с совещательным — 112 человек. 372 делегата съезда участвовали в Великой Отечественной войне.

Он указал, что в 1934 году в Союзе советских писателей состояло 1500 членов и кандидатов; на 1 декабря 1954 года в Союзе состояло членов — 3142, кандидатов — 553. Л. В. Никулин отметил бурный рост национальных литератур.

Под аплодисменты всего зала Лев Никулин сказал: «Среди присутствующих на данном съезде делегатов 123 человека были также делегатами Первого всесоюзного съезда писателей. Эти товарищи законно могут быть названы ветеранами нашей советской литературы».

Теперь бы непременно заявили о перегрузке программы съезда. А тогда царила атмосфера деловой приподнятости. Надо было очень серьезно и откровенно поговорить о делах насущных.

Колонный зал мне был знаком и любим мною. Здесь в пятидесятые годы проводились конференции сторонников мира. Председателем Алтайского краевого комитета мира долгое время являлся академик ВАСХНИЛ, замечательный человек Михаил Афанасьевич Лисавенко. Несколько лет мне довелось работать вместе с ним, его заместителем, и ездить в Москву на всесоюзные конференции. (Теперь, благодаря телевидению, этот прекрасный зал знают практически все люди планеты.)

В фойе меня поразили красочные стенды. Книги — более ничего. Художественные, разных жанров, на десятках языков СССР. Тут развернута грандиозная выставка «Советская литература за двадцать лет». Масштабы радуют и поражают. Выразительная иллюстративная фактограмма к докладу Суркова... Тут требовался гид-путеводитель. Впрочем, и по съезду требовался такой гид. Трудно самому выделить и цепко ухватить главное.

Во второй день, например, слушались три содоклада: Б. Н. Полевого о детской и юношеской литературе, Самеда Вургуня о поэзии, К. М. Симонова о прозе. Затем начались прения. В последующие дни слушались еще четыре содоклада: о драматургии (А. Е. Корнейчука), о кинодраматургии (С. А. Герасимова), о художественном переводе (П. Г. Антокольского), о критике (Б. С. Рюрикова).

Перегрузка? Но ведь съезда-то не было двадцать лет.

Мне сподручнее всего было примыкать к новосибирской делегации. Александр Смердов познакомил меня с Георгием Марковым и Сергеем Сартаковым. Вскоре выяснилось, что слово для выступления от сибиряков получит лишь один писатель — иркутянин Георгий Марков.

И ленинградская делегация манила, хотя знакомых там у меня было один-два человека, не больше.

Вообще ленинградская тема для меня «вечна». В июне 1941 года я закончил четвертый курс Ленинградского Политехнического института. Еще курс и...

В 1939-1941 годах я занимался в литкружке (студии), которым руководил пи-

сатель Александр Черненко, автор романов «Расстрелянные годы», «Моряна».

Война позвала на фронт, вложила в руки винтовку. В составе третьей дивизии Ленинградской армии народного ополчения, а затем — 314-й стрелковой дивизии я воевал в 7-й отдельной армии на Волховском и Ленинградском фронтах.

В 1947 г. я закончил ЛПИ и был распределен на Барнаульский котельный завод.

В 1952 году я был послан из Барнаула на месячный всесоюзный семинар молодых прозаиков. Одним из руководителей семинара был Всеволод Кочетов. Он со вниманием читал рукопись моих «Конструкторов», давал советы. В 1953 году он опубликовал мой рассказ «Будем жить» (из цикла «О Вадике и Жене») в «Звезде».

Встречи с Александром Черненко и Всеволодом Кочетовым были теплыми. Кочетов подарил мне «Журбины» с доброй надписью. Я их теперь интересовал как сибиряк. Всеволод Анисимович прочитал очерк, поставил на полях вопросительных знаков, сказал: «Поправьте. Пришлите в «Звезду»... Впрочем, вскоре Кочетов переехал в Москву.

Ленинград близок мне и с иной стороны (скажу: со всех сторон). Мы, барнаульские котельщики, всегда помним, что летом 1942 года из блокадного города через Ладогу, под артиллерийским огнем и бомбежками немцев, переправлялись работники Невского машиностроительного завода имени В. И. Ленина — основателя БКЗ. У нас и сейчас свято чтутся ленинградские традиции.

...Как раз во время работы съезда близился очередной юбилей окончательного снятия блокады с Ленинграда (в январе 1944 года). Мне тогда привелось быть участником этих событий. У меня в кармане лежало подклеенное на стгбах удостоверение к медали «За участие в героической обороне Ленинграда».

В сорок третьем я сдружился с командиром роты связи Николаем Игнатенко и солдатом-связистом Игорем Сеньковым. Мы все трое писали стихи.

После первоначального прорыва блокады Ленинграда 314-я стрелковая дивизия стояла на стыке Волховского и Ленинградского фронтов, отражала неоднократные атаки фашистов, стремившихся снова сомкнуть глухую блокаду.

В землянке лейтенанта Игнатенко мы читали стихи, свои и «чужие». Тогда до нас доходили отрывки из поэмы «Пулковский меридиан» Веры Инбер.

В пролет меж двух больничных
корпусов,
В листву, в деревья золотого тона,
В весенний лепет птичьих голосов
Упала утром бомба весом в тонну...

Позднее Вера Инбер написала:

И ежели отныне захотят
Найти слова с понятиями вровень.
Сказать о пролитой бесценной крови,
О мужестве, проверенном стократ,

О доблестях, то скажут —

Ленинград, —
И все сольется в этом слове.

В середине января 1944 года дивизия сдала оборону другим частям и форсированным маршем двинулась к Ленинграду, а затем, вышла на Балтику, к причалам Лисьего Носа. Над Финским заливом висел вечерний полумрак. Баржи. Трапы... Неужели в морской десант? Но мы ведь пехотинцы!..

— Гру-узись, — команда вполголоса.

В десант, так в десант! Куда мы поплывем? Тишина. Лишь приглушенный топот ног по трапам.

Как только мы оказались на барже, почувствовалась крайняя усталость, сморил сон. Баржи шли, а мы, сбившись кучками от холода, спали.

Сколько прошло времени?

А вот и берег. Мы проснулись. Мелководьем устремились к песчаной кайме. И как только мы на нее ступили, впереди загромыхало. Загромыхало и сзади, и с боков.

— Оранненбаум! — кто-то удивился громко и радостно.

Всю блокаду, тысячу дней, моряки и пехотинцы удерживали город Оранненбаум (ныне Ломоносов) и клочок земли на южном побережье Финского залива напротив Кронштадта, так называемый «Оранненбаумский пяточок».

Мы наступали на юг.

Удары также наносились из Ленинграда и Новгорода.

Слева у нас остались Стрельна и Гатчина. Взяли Кикерино, Волосово, резко повернули на запад.

Стремительный штурм Кингисеппа, и город наш. С того времени наша дивизия стала именоваться 314-й стрелковой Кингисеппской ордена Суворова дивизией.

С ходу форсировали реку Нарву, захватили плацдарм. Началось освобождение Эстонии.

Густой, концентрированный, жестокий артоналет. Рвались снаряды, шрапнель, мины всех калибров.

И так — по несколько раз каждый день. С берез и сосен опали срезанные осколками ветки. Обшарпанные, расщепленные, обугленные стволы деревьев стоя умирали.

Во время одного особо яростного артоналета Игорь Сеньков был тяжело ранен, эвакуирован в тыл и в нашу дивизию больше не вернулся. Мы — «потерялись».

...И вот он — Игорь Сеньков — в фойе Колонного зала! Оказывается, он работает в литконсультации союза. Однополчанин Игорь Святославович Сеньков стал моим «поводырем» по литературному миру и по съезду.

4

Излагать, пусть сколь угодно кратко, содоклады и выступления невозможно.

Меня обрадовало, что первым в прениях получил слово Виллис Лацис. Я смотрел на него с благодарностью. Этот человек написал латышский роман «Сын рыбака», который я люблю так же, как рус-

ский — «Тихий Дон», эстонский — «Берег ветров», казахский — «Абай», украинский — «Переяславская Рада»..

Виллис Лацис обратил свой призыв к молодежи: «Смелее идите в жизнь, наши дорогие молодые друзья! Помните, что писатель — реалист, как бы он ни был одарен от природы, никогда не вырастет в настоящего художника без большого и непосредственного жизненного и трудового опыта. Учитесь у жизни, пишите правду о жизни, отдавайте, как учит нас партия, все силы беззаветному служению народу».

Тогда В. Лацису было пятьдесят. Он выглядел сильным, очень собранным. Он — писатель и крупный общественный деятель, образец для подражания.

Затем на трибуну подымались Якуб Колас, Микола Бажан, Владимир Луговской, Киви Наджми, Михаил Исаковский, Наир Зарьян — какой блеск нашей разноязычной словесности!

Шел нелегкий, негладкий, многосложный профессиональный разговор. Выступали мастера слова, создатели художественных образов в самом широком диапазоне этого емкого термина. Конечно, наши литераторы, как правило, шли от жизни.

Жизнь сегодняшняя и даже завтрашняя мощно врывалась в работу съезда.

Георгию Маркову дали слово на третий день съезда. Марков говорил от имени всех сибиряков:

«Взгляните на Сибирь! Давно ли этот обширный край представлял собой океан диких лесов, гор, степей, могучие сплетения пустынных и своенравных рек!.. Сибирь сегодня — это гигантский край, на просторах которого идет кипучая, созидательная жизнь. Сибиряки называют свой край великой стройкой коммунизма... Честно сказать, товарищи, дух захватывает, сердце сильнее колотится, когда представишь весь этот колоссальный размах борьбы советских людей в Сибири».

Вблизи поселка Братска на Ангаре начиналось строительство Братской ГЭС невиданной мощности.

Накануне выступления мы рассказывали ему каждый о своем. Я — о первой целинной весне (в феврале 1954 года был участником митинга встречи первых целинников на станции Барнаул) и первой целинной осени.

Хорошо сказал Георгий Марков о журнале «Сибирские огни» и об областных альманахах как о школах творчества и литературного мастерства.

Жизнь являлась на съезд и в лицах гостей. людей деловых: вице-президента АН СССР А. В. Топчиева, секретаря ВЦСПС П. Н. Коробовой, начальника Главного управления трудовых резервов при Совмине СССР Г. И. Зеленко... Жизнь вливалась на съезд бесконечным потоком телеграмм и писем, приветствий и пожеланий. От читателей. От рабочих коллективов. От полярников поселка Тикси. От тракторной бригады Балтики. От матросов и военных моряков Балтики. От рабочих китобойной флотилии «Слава»... Лавиной шли поздравления из-за рубежа.

Я потом полюбопытствовал в секретари-

риате (через Игоря Сенькова): сколько же было получено обращений? — Не считали. Во всяком случае, больше тысячи.

Все годы по-своему необычайны, неповторимы. Каждый период жизни таит в себе взрывы,двигающие страну вперед.

...Пятидесятые годы — великие годы. «Целина» — этот термин приобрел глобальный характер.

К этому времени советская энергетика снова прочно ступила на вторую ступеньку в мире по выработке электрической энергии и на первую по выработке тепла для бытовых и промышленных нужд.

Люди ехали в Сибирь не только на степную целину, но и на рудную, угольную, гидротехническую, машиностроительную. Прилив. Прибой.

К нам на котельный завод ехали выпускники Московского энергетического, Ленинградского и Кневского политехнического институтов. Убежденные «целинники». По зову сердца, по призванию. (Встречались и ошибившиеся в своих эмоциях, однако таких было мало.)

В том году Барнаульские меланжисты отмечали двадцатилетие своего комбината, искали новые расцветки тканей на самые взыскательные вкусы.

Наращивал выпуск тракторов Алтайский тракторный завод в Рубцовске (рядом — целина!).

На нашем заводе в 1954 году вошел в строй цех-красавец для производства котельных барабанов и тяжелых сосудов. С того же года начался переход от небольших котлов среднего давления к крупным агрегатам высокого давления. Энергооборудование с маркой «БКЗ» впервые шагнуло на международный рынок.

Для нас, котлостроителей, это, несомненно, была подлинная техническая целина.

В том же году на ряде энергомашиностроительных предприятий страны созданы специальные конструкторские бюро по турбо- и котлостроению (в том числе — на БКЗ). Меня тогда назначили заместителем главного конструктора завода.

Геологи искали и находили в недрах Сибири уголь, нефть, природный газ. Требовалось стремительно развивать энергомашиностроение.

Пятидесятые годы — пионерские годы.

Они значительны и в общем, и в личном для меня планах. Работать! Надо работать изо всех сил. В конструкторском бюро. За домашним письменным столом. В краевой организации сторонников мира.

Работы — край непочатый...

И дети... Тогда наши первенцы, дети солдат, вернувшихся с войны, пошли в первый класс.

Между прочим, на восток ехали люди не только в сельское хозяйство, на строительство и в промышленность. В 1953 году приехал в Барнаул Геннадий Борунов, художник; его персональная выставка через тридцать лет привлекла всеобщее внимание. Почти одновременно приехал журналист и писатель Лев Квин (впоследствии он напишет первую книжку о целине на Алтае — «Палатки в степи»).

...А передо мной стояла проблема: сколько же времени, сил и сердца надо отдавать заводскому кабинету, сколько — домашнему?

5

Михаил Александрович Шолохов выступил на вечернем заседании седьмого дня.

Зал заполнен до отказа. Запружены проходы. Тут и официантки из буфета, и киоскерши из «Союзпечати», и гардеробщицы, и вообще все, кто в тот час был в Доме Союзов.

Я слушал Шолохова напряженно. Он говорил негромко, даже тихо. И все тем не менее слышали его. Тишина стояла полная... И вдруг вскидывались в аплодисментах руки тысячи людей. И вдруг мы все замирали, когда оратор высказывал слишком субъективные мнения...

В конце речи Шолохов сказал слова, сразу облетевшие всю планету:

«О нас, советских писателях, злобствующие враги за рубежом говорят, будто бы пишем мы по указке партии. Дело обстоит несколько иначе: каждый из нас пишет по указке своего сердца, а сердца наши принадлежат партии и родному народу, которому мы служим своим искусством».

Споры о художественной правде велись на съезде остро, неуступчиво, иногда запальчиво. Раскрывалась многогранность метода социалистического реализма.

У меня все отчетливее возникала убежденность: лично, пристально посмотри жизненный случай, свежо расскажи о нем другим. Правдиво и по-своему. Через собственное сердце пропусти. Надо работать упорно, душевно, страстно. Аморфная бесконфликтность калечит произведения.

Темпераментно говорил Валентин Овечкин, автор знаменитых очерков «Районные будни», в которых обостренно ставились проблемы земли, земледельца, показывались образы сельских руководителей нового склада.

У каждого — своя дорога в мире. Этим и привлекателен, и удивителен, и замечателен наш земной мир. Дело требует всей жизни человека. Да и жизни на настоящее дело не хватит. Но у меня своя единая (а не двойственная) тема: люди напряженного труда на заводе; образы личностей, занятых индустриальным трудом, в повестях и рассказах... Обязательно — люди, личности! Без них и там, и там не жди удачи.

Запали в память речи В. П. Катаева, И. Г. Эренбурга, О. Ф. Берггольца, А. А. Фадеева, Р. Г. Гамзатова.

А выступления классиков детской литературы! Я с трепетом слушал живые голоса Корнея Ивановича Чуковского, Самуила Яковлевича Маршак, Агнии Львовны Барто, полные энтузиазма и красоты их речи-рассказы. Видел их лица.

Их стихи были первыми моими книжками. В первых классах я знал «Мистера Твистера» и «Мойдодыра». Теперь, во время съезда, они — первые книжки моих детей.

С. Я. Маршак начал свою речь так:

«Вот что говорит о своей работе над книгами для детей один старый «детский» писатель, которого вы все знаете, — Лев Толстой: «Работа над языком ужасная, — надо, чтобы все было красиво, просто и, главное, ясно...». А закончил словами:

«Люди, работающие в детской литературе, похожи на тех советских людей, которые поднимают целину. Это нелегкий, но благодарный труд».

...Я сейчас сижу за столом, пишу эти заметки и слышу, как в соседней комнате декламирует стихи трехлетняя внучка: сначала: — «У меня зазвонил

телефон»...

Потом: — «Зайку бросила хозяйка»...

Детские книжки скоро лохматятся, изнашиваются. Никогда не изнашиваются хорошие, звонкие, «хитроватые» детские стихи великих мастеров.

6

На съезд приехали гости — около ста, писатели разных поколений почти всех стран земного шара.

Доклад «Современная прогрессивная литература мира» сделал Н. С. Тихонов на вечернем заседании восьмого дня работы съезда.

Мне был знаком и дорог своими романтическими стихами поэт-ленинградец Николай Тихонов еще в школьную пору. Я и мои сверстники в тридцатые годы читали его «Балладу о гвоздях» и «Балладу о синем пакете». Мы знали его великолепные восточные поэмы.

Его стихи я декламировал на фоне искристых языков пионерского костра. И слушали их, затаив дыхание, сотни юных существ в краснопламенных галстуках, слушали стихи про мальчика Сами, про Ленина, про Индию и про весь мир.

В студенческие годы руководитель литстудии ЛПИ Александр Черненко приглашал, наряду с другими литераторами, Николая Тихонова на наши занятия. Осенью 1940 года он читал стихи ранних лет и новые стихи из цикла «Палатка под Выборгом».

В заключение мы услышали такую (казалось, экспромтную) лирическую миниатюру:

Я хочу, чтоб в это лето,
В лето, полное угроз,
Синь военного берета
Не коснулась ваших кос.

Чтоб зеленой куртки пламя
Не одело ваших плеч,
Чтобы друг ваш перед вами
Не посмел бы мертвым лечь.

...А в блокадном Ленинграде в конце 1941 года Николай Тихонов, по заказу «Правды», написал поэму «Киров с нами».

В докладе на съезде Николай Тихонов раскрыл значение новой литературы социалистических стран и книг прогрессивных писателей Запада.

Мне припомнилось вот что.

...В 1945 году тридцать третий президент США Гарри Трумен отдал приказ

сбросить атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки. Он «увековечил» свое имя в памяти людей. Потом этот человек, один из самых мрачных (и по облику, и по образу мыслей) американцев, возвестил начало «холодной войны» против СССР. Движение сторонников мира вспыхнуло на всех континентах. В 1949 году Н. С. Тихонов возглавил Советский комитет защиты мира.

Я тогда на стыке сороковых и пятидесятых работал над «Конструкторами». Солдатки-вдовы просились на страницы романа. Даже требовали: впусти! Они шли по жизни, вступали в повествование с листами Стокгольмского воззвания. Вдовы-солдатки ведь тоже героини, под стать навсегда потерянным мужьям... Навсегда!

Вот такие цифры: под Стокгольмским воззванием, требовавшим запрещения атомного оружия, в течение 1950 года поставили подписи около 500 миллионов человек, в том числе в СССР — свыше 115 миллионов.

Иногда Михаил Афанасьевич Лисавенко брал меня с собой на Всесоюзные конференции сторонников мира; дважды мы даже жили вместе.

Глубокая осень 1952 года. Идет четвертая конференция сторонников мира. В президиуме — знатные колхозники и рабочие, академики и литераторы, священнослужители православной и других церквей. Председательствует Н. С. Тихонов.

Михаил Афанасьевич наиболее яркие выражения ораторов заносит в записную книжку. «Это мне понадобится. Не умею говорить выразительно».

А вечерами у него интервьюеры: сотрудники солидных сельскохозяйственных изданий, писатель Геннадий Фиш, работающий над очерками в области биологии, корреспонденты из «Известий» и «Пионерской правды»...

Да, хлопотно ездить с садоводом Лисавенко в командировки...

До утра еще далеко, а он встает, звонит в Барнаул жене. Предзимок на Алтае выдался холодным. Михаил Афанасьевич спрашивает о влажности, температуре воздуха... А на почве? А снег выпал «крупчатый» или «лохматый»? Покрыл ли он саженцы смородины? А облепили? А грядки земляники?

Утром — в комитет к Н. С. Тихонову. Тот проводит совещание с председателями краевых и областных комитетов защиты мира. Возникают десятки вопросов. И не на каждый находится сиюминутный ответ.

Когда все разошлись, Николай Семенович подозвал Лисавенко, усадил напротив. (Я держался в стороне.)

Удивительной была беседа этих седеющих, но сильных людей. Разных людей — литератора и естествоиспытателя. Почти одногодков. Совсем разных. Но — единомышленников.

Беседуют люди большого калибра. Личности, увлеченные каждый своей поэзией в прямом либо в переносном смысле. И вдруг сошедшиеся с глубокой заинтересованностью, так сказать, на «чужой»

стезе, которая привела их на баррикаду защиты мира во всем мире...

М. А. Лисавенко звал Тихонова в гости. Тот признавался, что хорошо знает юг: Закавказье, Среднюю Азию, зарубежные теплые страны.

Конечно, такие разговоры надо тщательно записывать. Удастся ли восстановить эту беседу хотя бы приблизительно? Тема Лисавенко — Мичурин раскрыта. А вот тема Лисавенко — Тихонов ждет раскрытия.

Недавно я перечитал повесть Николая Дворцова о М. А. Лисавенко «Нужны энтузиасты». Очень, очень важно при переиздании повести показать Михаила Афанасьевича не только страстно увлеченным специалистом, но и гуманистом, неутомимым общественным деятелем. Воистину большим человеком.

(Бросаю ретроспективный взгляд через три минувших десятилетия. «Холодная война» тогда — и атомный шантаж сейчас. Аналогия... Снова нагнетание страха. Сдавить мозг и людей ядерным ужасом!)

Я тогда активно учился. У меня были школы заводская, школа «Сибирских огней», школа Лисавенко... Они учили думать, чувствовать, действовать. Я старался подражать Михаилу Афанасьевичу в его непреклонной настойчивости, работоспособности, широте интересов, напряженности понсков.

Доклад Н. С. Тихонова здесь, на съезде, отнюдь не был чисто литературно-критической акцией. Он насыщен политическим содержанием. Он сделан в горьковских традициях: «С кем вы, мастера культуры?»

Приветствия, добрые, светлые, прислали Лион Фейхтвангер, Эркин Колдуэлл, Джанни Родари, Бертольд Брехт и еще многие писатели, художники, музыканты планеты.

Полю Робсону американская администрация не дала визы на поездку в СССР. Великий артист и страстный борец за мир прислал пластинку с приветствием съезду; на ней были записаны речь и песня.

7

25 декабря проводилось так называемое закрытое заседание съезда. Оно не отличалось никакой иной «закрытостью», как только отсутствием участников по гостевым билетам. Председательствовал А. А. Фадеев.

На этом заседании обсуждался ряд практических организационных вопросов. Среди них — предложение о закрытии литературно-художественных альманахов в краях и областях и о создании «кустовых» журналов. Такое предложение перед съездом дискутировалось в «Литературной газете». На съезде его внес и отстаивал Николай Грибачев.

А. А. Фадеев дал мне слово в конце заседания. Я рассказал об огромной ро-

ли альманаха для консолидации молодых литературных сил края, в котором, кстати, начинается подъем огромных площадей целинных и залежных земель. Неожиданно очень темпераментно поддержала меня репликой Галина Николаева (она не однажды бывала на Алтае).

Фадеев, обобщая дискуссию, сказал: «Давайте не будем рубить все альманахи сплеча да сгоряча».

На последнем заседании председательствовал Ф. В. Гладков. Он и закрывал съезд.

В резолюции особо отмечено:

«Съезд подчеркивает, что для дальнейшего обогащения и роста советской литературы весьма важное значение имеют соревнование различных, развивающихся на основе принципов социалистического реализма, творческих течений, более смелые искания в области литературных стилей и форм, способствующие наиболее полному и всестороннему выявлению индивидуальности писателя и развитию его таланта».

...Из Москвы в Барнаул я впервые в жизни летел на самолете Ту с турбореактивным двигателем. Наступала эра реактивной авиации. Меня провожал однополчанин Игорь Сеньков. Недавно я получил от него письмо. Он предлагает в день сорокалетия Победы встретиться со мной и Николаем Игнatenко в Ленинграде, на Пискаревском мемориале.

Близилась эра космических полетов.

Надо было осваивать огромные богатства Сибири. И не кое-как, а на научной основе. Необходимо было здесь обеспечить опережающее развитие науки, приблизить науку к району интенсивного развития экономики. Выбиралось место для Академгородка под Новосибирском, ставшего впоследствии знаменитым на весь мир.

...Среди блокнотов и записных книжек у меня сохранился доклад о съезде — пухлая папка со множеством вкладных листов и листочков. Невозможно было «читать» доклад в любой аудитории — требовались вариации. Свыше пятидесяти выступлений сделал я в течение двух месяцев на заводах и в институтах, в клубах и красных уголках, в общежитиях и школах. Михаил Афанасьевич Лисавенко попросил меня сделать информацию о съезде на заседании краевого комитета защиты мира.

Три великих созидательных десятилетия прошло со времени Второго съезда. Во всех свершениях народа есть и писательская доля.

Книги помогают строить и пахать, проектировать машины и выпускать товары народного потребления.

Книги делают людей духовнее и чище.

Книги сражаются за мир.

Ноябрь-декабрь
1984.

Владислав КОЗОДОВ

ЦЕНА ПОБЕДЫ

Под таким заголовком Алтайским книжным издательством к 40-летию Победы выпущена книга произведений писателей-фронтовиков, живущих на Алтае. Это повести, рассказы, очерки, повествующие о трудных днях Великой Отечественной войны, о фронте и тыле. Многие произведения уже знакомы читателям по ранним публикациям, но собранные под одной обложкой, они составляют как бы единую летопись войны, написанную нашими земляками.

У каждого автора своя фронтовая судьба, своя география, потому и герои их произведений не похожи друг на друга. Но есть одна черта, объединяющая их, что делает книгу цельной, создает единый образ русского солдата. Черта эта — самопожертвование во имя Родины. Она красной нитью проходит через книгу и роднит и авторов и героев их произведений.

Восемнадцатилетним ушел на фронт Г. В. Егоров. Воевал под Сталинградом, на Курской дуге. Был не раз ранен в тяжелых боях и хорошо знает цену Победы. Вот о таких, как он сам, восемнадцатилетних и рассказывает писатель в главах из романа «На земле живущим», являющимся как бы продолжением широко известного на Алтае романа «Солонга ты, земля».

Писатель исподволь подходит к теме войны. Чтобы написать об увиденном и пережитом, ему понадобились годы. И этот взгляд сквозь расстояние помогает писателю увидеть те жестокие годы в дымке романтики. Он избегает эффектных банальных сцен, а скрупулезно исследует истоки героизма, истоки самопожертвования.

Читая повесть недавно ушедшего от нас писателя Н. Г. Дворцова «Двое в палате», не покидает ощущение, как будто разговариваешь с живым Николаем Григорьевичем. И видишь не Илью Рыбина, главного героя повести, а самого писателя, утомленного ночным поединком с болезнью, мучительно вспоминающего далекие годы войны.

Н. Г. Дворцов не последовал есенинскому завету, что «большое видится на расстоянии», а, сняв солдатскую форму,

сразу же взялся за перо, чтобы рассказать о пережитом. Возможно потому, что ему пришлось увидеть русского солдата не только в бою, на виду у всех, где и смерть красна, а и за колючей проволокой фашистских концлагерей, где с человека слетала вся случайная шелуха, а оставалась суть. И он спешил рассказать об этом во многих рассказах, в романе «Море бьется о скалы» и в этой небольшой и емкой повести «Двое в палате».

Двое в палате... У двоих все лучшее позади, впереди — тьма. По обоим тяжелой гусеницей прошла война, разделив жизнь на до и после войны. О чем же они спорят перед вечным покоем, что не поделили в прошедшей жизни? Оказывается, очень многое — не может Илья Рыбин, не запятнавший себя ничем в самых трудных испытаниях, простить своему земляку предательства. И думая о том, почему Козырев стал предателем, Илья Рыбин находит в нем истоки предательства еще задолго до войны. Мелкий карьерист, прикрывающийся высокими фразами, он и в мирной жизни потихоньку предавал доброту, честность, порядочность. Повесть обращена к сегодняшнему дню, она заставляет читателя пристальнее задуматься о самом себе, о людях, окружающих тебя.

Тема войны была и сейчас остается одной из главных в нашей литературе, пока тревожно в мире, пока хранятся в семейных альбомах пожелтевшие фотографии не пришедших с войны солдат, пока живы очевидцы.

Очевидцем героической борьбы белорусских партизан был ныне покойный писатель И. Л. Шумилов. Он успел рассказать об этом в книге «Записки партизана». Об одном из эпизодов войны узнаете в рассказе «Как мы захватывали плацдарм». Обычное фронтовое событие согрето личным присутствием автора и поэтому рассказ читается с неослабевающим интересом.

Разными фронтовыми дорогами прошли писатели П. А. Бородкин и М. И. Юдаlevич. Первый был призван в армию в 1939 году, воевал в составе Закавказского, 1-го и 3-го Белорусских фронтов, второй ушел на фронт добровольцем, вое-

вал под Москвой, работал во фронтовой газете. Оба, как Г. В. Егоров, тоже исподволь подходили к теме войны. П. А. Бородкину нужно было вначале написать «Исторические рассказы о Барнауле», «Тайны змеиной горы», поразмыслить о судьбе русского таланта-самоучки И. И. Ползунова. М. И. Юдалевич прежде написал сотни стихов на злобу дня, поэму и пьесу о том же И. И. Ползунове, повести и рассказы о современниках. Оба как будто хотели забыть о войне, как о чем-то неестественном для человека. Но, видно, неизбежна память о ней. Свидетельство тому — рассказы, напечатанные в книге. О первых наградах, о подвиге разведчика, о рядовом Херсонском. «И все-таки как методичны, как беспощадны они, эти годы, — пишет М. И. Юдалевич, — никто еще не обманул, не перехитрил, не победил их. Непреклонно и педантично делают они свое: изреживают копны волос, белят виски, прокладывают борозды морщин, гасят улыбки...

И разве в седом медлительном человеке, в какого превратило меня время, можно узнать того худящего, длинного, как жердь, старшину, который этаким

чертом подлетает к угрюмому, недобро оглядывающему строй офицеру».

Хочет увидеть давнишнего себя сквозь дымку лет и примерить к сегодняшнему Л. И. Квин в главах из романа «Звезды чужой стороны». Его герои — интернационалисты, мужественные бойцы против фашизма. Они чисты и бескорыстны, готовы отдать жизни за светлое будущее.

Немало страниц в нашей литературе посвящено женщинам — героям войны и труженицам тыла. Достойное место занимает в них и повесть П. Н. Старцева «Шумели грозы» о реальном человеке — механике-водителе танка Ольге Дмитриевне Сотниковой.

О фронтовом братстве, скрепленном кровью, и потому нерушимом и в мирное время, рассказывается в очерках В. С. Шевченко «Побратимы» и Н. В. Павлова «Ленинград—Барнаул».

Высока была цена Победы и незыблемой должна быть память о ней, незыблемыми идеалами, утвержденные подвигом отцов — вот основная мысль книги, которая несомненно привлечет самого широкого читателя.

Сергей КАТАШ

СТИХИ, НАПИСАННЫЕ В ОКОПАХ

О СБОРНИКЕ СТИХОВ Я. БЕДЮРОВА «ПЕСНИ ВОИНА»

Трудно представить, что прошло уже сорок лет с тех пор, как «Майскими короткими ночами, отгремев, закончились бои», и над поверженным логовом фашистского зверя — рейхстагом — взвилось Красное Знамя Победы. Казалось, что все эти 1413 многотрудных, тяжелых, порой невыносимых дней и ночей проходили очень и очень медленно, а их отсчет со дня Победы начался как бы в ускоренном темпе, удивительно быстро. Четыре десятилетия нам теперь кажутся равными четверем годам войны... Такова память человеческая.

Сегодня мы вспоминаем со скорбью о своих друзьях-товарищах, не вернувшихся с войны, о совсем юных сверстниках, пропавших без вести, о родных и близких, которых нет с нами... Мы отдаем дань памяти всем двадцати миллионам советских граждан, не пожалевшим свои жизни ради жизни на Земле, ради нашего с вами сегодня и завтра. За эти 40 лет уже выросли новые поколения, не знающие, что такое война, не видевшие зловещих военных пожаров, не испытывавшие невероятных трудностей, пережитых их отцами и дедами, но зато знающих, какой ценой досталась Победа. Хорошо, что новое поколение не устает повторять: «Никто не забыт, ничто не забыто». Наглядным тому примером является появление стихов в свет, написанных более сорока лет назад непосредственно на передовой поэтом-фронтовиком Янгой Тодошевичем Бедюровым. Эта небольшая книжка подготовлена к печати сыном Янги Тодошевича — поэтом Бронтоем Бедюровым и поэтом Паслеем Самыком и выпущена местным издательством. Сделано очень похвальное и нужное дело.

По крайней мере, в нашей литературной жизни это событие уникальное и требует достойной оценки. Подумайте сами: эти стихи, рожденные в окопах, — живые свидетели кровопролитной войны, своего рода поэтический репортаж с места событий! Такого феномена в алтайской поэзии доселе не было. Как и все братские литературы нашей многонациональной Родины, алтайская литература достойно отразила ратные и трудовые подвиги народа в период Великой Отечественной войны.

Некоторые писатели были участниками войны. Сегодня будет кстати еще раз

вспомнить их имена добрым словом. Это А. Ф. Саруева, С. С. Суразаков, А. М. Чокков, Исая Тантыев, Владимир Иртанов, которых нет среди нас. Это ныне здравствующие ветераны Великой Отечественной войны писатели И. П. Кочеев, А. М. Демченко, И. В. Шодоев. Правда, их произведения о войне создавались ими уже после войны, а стихи и песни Янги Бедюрова, о которых идет речь, написаны непосредственно на войне. В этом непреходящая их ценность и своеобразие. Скажем несколько подробно об авторе сборника. Янга Бедюров был довольно популярным еще в начале тридцатых годов как поэт-песенник. Наряду с песнями поэтов тех лет Ивана Эдокова, Исая Тантыева о Красной Армии и ее славных полководцах, были очень распространенными песни Янги Бедюрова. Особо хочется отметить его песню «Ожидание командира».

Как сейчас помню, мы, воспитанники Челушманского и Бальктукульского интернатов, с большим подъемом и вдохновением распевали эту песню во время праздничных шествий в строю и на уроках пения:

Едет, едет командир —
Красной Армии Герой.
Э-эх, эх-ха-ха!
Красной Армии Герой!

Короче говоря, Янга Бедюров был поэтом со своей тематикой. Ее можно определить двумя словами: военно-патриотическая. И это вполне закономерно. Ведь вся его жизнь была связана с воинской службой.

Родился Я. Т. Бедюров в 1907 г. в с. Курунда Уймонской волости, ныне Усть-Коксинский район, в семье бедняка. С ранних лет участвовал в строительстве новой жизни в горах Алтая и был в числе тех алтайских юношей, которые по первому призыву отправились служить в особую Краснознаменную Дальневосточную Армию в 1928 г. Он участник разгрома китайских милитаристов на КВЖД в 1929 г. После службы в РККА в 1934 г. был направлен в органы внутренних дел.

Я помню Янгу Тодошевича, когда он работал в РО НКВД в Улагане. На пеллисах его гимнастерки были три «шпалы» — это теперь соответствует званию

подполковника, а на рукаве эмблема, на которой изображен щит и меч — символ чекистов.

С первых дней Великой Отечественной войны и до ее победоносного завершения Янга Бедюров был в действующей Армии. За свои ратные подвиги отмечен несколькими боевыми орденами и медалями.

После возвращения с фронта инвалидом (он ходил на двух костылях) коммунист Я. Т. Бедюров продолжал оставаться в строю, вплоть до своей кончины, в 1961 году. В послевоенные годы он не переставал творчески работать. Им были написаны стихи и песни о трудовых свершениях своих земляков. Эти стихи также ждут своего издания. Что касается его фронтовой лирики, то она извлечена из пожелтевших от времени фронтовых тетрадей и дневников, с которыми мне довелось познакомиться лет десять тому назад и написать о них положительный отзыв с рекомендацией к публикации. Но, как видим, эти стихи, опаленные войной, написанные на передовой, в окопах и блиндажах, в минуты коротких передышек между боями, долгое время оставались под спудом. И вот, наконец, они увидели свет. Из дневниковых записей автора мы узнаем, что он писал их не для издания, а для души, не в расчете на славу, а в назидание своим детям... В редкие промежутки между боями, пристроившись поближе к коптилке, едва освещавшей землянку, он доставал из полевой сумки дневник и колдовал над поэтическими и прозаическими строками, которые, кстати, несут в себе огромный заряд идейно-патриотической силы. В них выражены идущие от чистого сердца мысли патриота, коммуниста, воина, любящего свою великую Родину, свой народ. В этих скупых, но емких по содержанию строках сконцентрированы те мысли и чувства, которые были присущи людям, смотрящим смерти в лицо. В них и скорбь о погибших друзьях-однополчанах, и вера в скорую победу, и думы о родных и близких, и диалоги с любимой подругой, и тоска по родному Алтаю, и надежда на скорое возвращение домой... Об этом свидетельствуют сами названия стихов и песен, включенных в сборник: «Благопожелания воину», «Клятва бойца перед боем», «Песня кавалеристов», «Разговор Волги и Дона», «Мы теперь — гвардия», «Письмо другу», «Песня героям», «Слава Ленину», «Письмо любимой» и т. д., и т. п. Читая эти стихи, мы как бы ощущаем богатый духовный мир алтайского воина. Именно в этих стихах особенно остро чувствуется дыхание войны, достоверность и докумен-

тность событий тех суровых, военных лет. Перед нами во весь рост встает советский человек, солдат и поэт, защитник Родины. За скупыми строками этих стихов, овевая пороховым дымом, просматриваются драгоценные черты внутреннего мира советского человека. Невозможно выделить какое-то отдельное стихотворение, ибо все стихи, включенные в сборник, подчинены одной теме — разгрому фашизма, освобождению советской земли от захватчиков, приближению Дня Победы.

Весьма ценным является то, что фронтовая поэзия Янга Бедюрова тесно связана с традиционной песенной культурой алтайского народа. Многие в них идет от фольклора или переплетается с ним. Однако справедливости ради отметим, что фольклор им не эксплуатируется, а умело используется для эстетического обогащения стиха. Это проявляется прежде всего в том, что свои стихи автор писал песенным размером, соблюдая ритмику алтайского народного стиха, пользовался образным параллелизмом и звуковым единоначатием, присущим фольклорным произведениям. К примеру:

Вершину седой горы
Тучи обволокут, знаю.
Головы фашистов
Пуля не минует, знаю.

Определяя поэтический почерк Янга Бедюрова, мы уверенно можем назвать его поэтом-песенником.

«Песни война» пропитаны кровью и запахом порохового дыма сурового военного лихолетья. Поэзия устремлена только вперед, к Победе, к разгрому ненавистного врага. Но в этой поэзии мы находим и глубокий лиризм, согревающий души бойцов-фронтовиков. В ней есть и любовная тема. Книжка Янга Бедюрова «Песни война» — это голос не вернувшихся с фронта солдат и одновременно голос оставшихся в живых ветеранов.

Если даже я погибну,
Моя душа останется в этих песнях.
Если меня не станет,
Зато мою песню народ не забудет:
Он сравнит ее с утренней зарей.

Поэта нет среди нас, а его поэтические строки остались. Они служат примером воинского долга, мужества, гражданственности, патриотизма, дружбы и братства. Эти стихи прошли через горнило кровопролитной войны. Они сражались вместе с их автором против коричневой чумы фашизма, и сегодня они в строю и достойно встречают 40-летие Великой Победы.

ЧАСТУШКИ

ВРЕМЕН ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

1

Эх, частушка, ты, частушка,
Слово каждое — снаряд.
Бьет фашиста по макушке,
Помогает воевать.

2

Отчего же не приходится
С залеточкой гулять —
Двадцать третьего июня
Он уехал воевать.

3

Ехал Гитлер на Москву
На машинах-таночках.
А обратно из Москвы —
На разбитых саночках.

4

Снеги пали, снеги пали,
Пали, да растаяли.
Наши немцев потрепали —
Отступать заставили.

5

Скоро, скоро снег растает,
С гор покатится вода.
Крепко бьются наши братья,
Занимают города.

6

Из колодца вода льется —
Настоящий леденец.
Красна Армия дерется,
Скоро Гитлеру конец!

7

Вижу озеро в тумане,
Плывет синий пароход.
Мой миленочек в шинели
Отправляется в поход.

8

Лес шумливый, лес дремучий,
Лес зеленою каймой.
С партизанами в отряде
Бьет фашистов милый мой.

9

На Калининском на фронте
Ручеечком кровь бежит.
Под зелененьким кусточком
Милый раненый лежит.

10

Ох, война, война, война.
Гитлером затеяна.
У залетки моего
Ноженька потеряна.

11

Ой, дороженька, гуди,
И машинушка, гуди —
Привезли наших героев
С орденами на груди.

12

Расцветают, расцветают
Цветы алые в полях.
Мы победу в руки взяли
У противника в боях.

13

Ох, яблочко,
Да с червоточинкой.
Немцу взять Ленинград
Нету моченьки.

14

Ох, яблочко,
Да с Дону катится.
От Ростова фашист
Задом пятится.

15

Ох, яблочко,
Да размалиново.

Всех фашистов истребили
До единого.

16

Красной Армии герои
Родину прославили —
На берлинском на рейхстаге
Красный флаг поставили.

17

Вот и кончилась война,
Прошли бои великие.
Очень жалко тех ребят,
Которые убитые.

18

Шла машина из Берлина
С красными вагонами.
Наши славные герои
Едут эшелонами.

19

Снова песни распевает
И цветет родимый край.
Никогда мы не забудем,
Как пришел Девятый май.

Составил А. Михайлов

Василий НЕЧУНАЕВ

СКАЗКА О ГУСЕ И ПЕТЕ

Расскажу вам, дети,
О гусе и Пете.
Поделюсь секретом...

Дело было летом.
Шел Петруша босиком
И столкнулся с гусакom.
Побелел, как лист бумажный:
Гусь — гусак, огромный, важный,
Как ворота, клюв раскрыл
И заго-го-го-ворил:
«Го-го-го! Бегом беги,
Обувайся в сапоги!
Кто гуляет босиком,
С ног слетает кувырком,
Удержаться на ногах
Можно только в сапогах!»



Одолел Петрушу страх.
Некуда деваться —
Надо обуваться.

С той поры и начал гусь
Наводить на Петю грусть.

Поутру-поутречку
Взял Петруша удочку

И отправился на пруд.
А навстречу — тут как тут —
Шел гусак вразвалку:
«Надо на рыбалку
Брать не уду, а узду.
Щуку выловишь в пруду,
Зауздаешь и — айда! —
Мчись на берег из пруда».



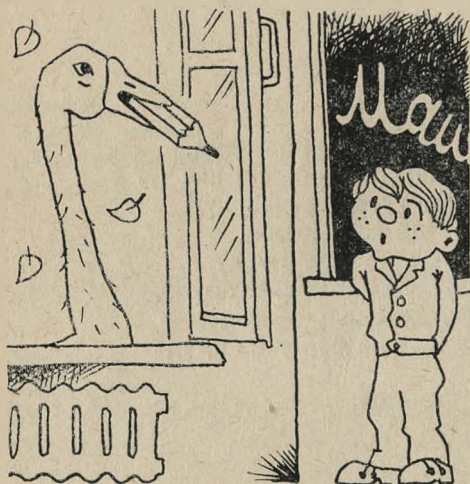
И на этот раз малыш
Гусаку не крикнул «кыш!».

Дальше вот что было.
Осень наступила,
Петя стал учеником.
А гусак — лишь гусаком.
Больше он никем не стал.
И опять заготал:
«В школу ходят для того,
Чтобы хором «го-го-го»
Говорили по слогам».

Петя волю дал ногам,
Выручили ноги.

В школе
На уроке
Он стоял перед доской.
Нерешительной рукой
Вывел слово: «Маша».

А под окна «стража»
Наблюдать за ним пришла.
Стража клюв приподняла,
Закричала Пете:
«Носом пишут дети!
Нос — хороший карандаш!»



«Ну-ка, марш отсюда! Марш!» —
Гусака прогнал учитель.

Только Петин враг-мучитель
Становился все смелей:
«К носу азбуку приклей!
На живот надень очки,
Чтоб не портились зрачки!»

Мучил Петю гусь-гусак...
А часы: тик-так! Тик-так! —
Времечко считали.
Годы пролетали.
Что ни лето да зима —
И силенок и ума
Петя набирался.
А гусак старался
Все учил, хоть сам пока
Не узнал и пустяка —
Сколько будет дважды два...

Как-то раз колоть дрова
Вздумалось Петруше.
Вдруг среди зимней стужи
Перед ним, как твердый знак,
Приосанился гусак:
«Надо на колене
Разрубать поленья,
Чтоб не пачкались о снег!»
«А послушай, Тега, Тег, —



Вырвалось у Пети, —
Если все на свете
Так посильно вам, гусям,
На топор. Работай сам».

«Как так сам?
Как так?
Как так? —
Закактакал гусь-гусак. —
Сам я не умею».

Сразу съежил шею,
Как облитый кипятком,
Побежал
Бочком,
Бочком.

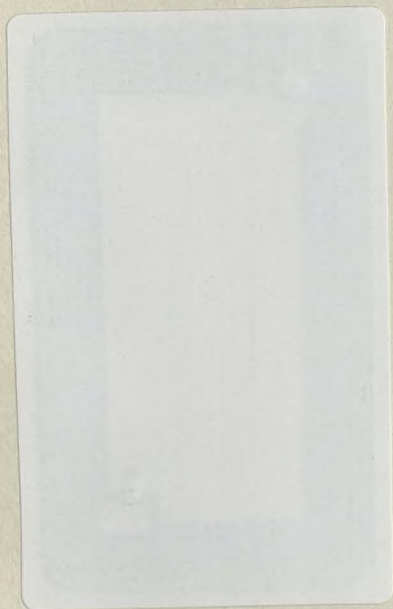
Убежал.
И — ни гу-гу.
Лишь на чистеньком снегу
След остался от гуся...

Тут и сказка наша вся.

Вам, ребята, сказку эту
Рассказал я по секрету
От гуся. На всякий случай.

Гусь-гусак, ведь он живучий.
Вдруг не Петю в свой черед,
А меня учить начнет.
Скажет: любят детки
Сказки про таблетки,
Про ухваты с колесом...

Что скандалить мне с гусем?
Мне ведь по указке
Не придумать сказки.



50 коп.

На 1-й странице обложки фото С. И. Пирогова:
«Навечно в памяти»